



Это цифровая копия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных полках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие засиси, существующие в оригинальном издании, как наиминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредиринали некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заирсы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали иrogramму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заирсы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заирсы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оптического распознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доилнительные материалы ири иомощи иrogramмы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск и этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

PG 3948
M 24 N 2



ОСЕННЯЯ ПОВЕСТЬ

НАШИ ЗНАКОМЫ





**INDIANA
UNIVERSITY
LIBRARY**

187

Osyp Маковец Ч. ІІІ.
ОСИП МАКОВЕЙ.



Nashi знакомі
Наші знакомі.

(НАЧЕРКИ).

(ЗАХОДОМ К СТУДИНЬСКОГО).



ЛЬВІВ
НАКЛАДОМ А. ХОЙНАЦКОГО.
З друкарні В. А. Шийковского.
1901.



Digitized by Google

PG 3948
M 24 N 2

INDIANA UNIVERSITY LIBRARY
Digitized by Google

Д В А С Т А В К И.

(Весняна іділля).

Великий кохінхінський когут у панськім курнику злопотів крилами і товстим басом засьпівав: ку-ку-рі-ку! Його сильний голос збудив когута на приходстві і сей засьпівав так само басом: ку-ку-рі-ку! Почув се когут в учителя і відповів обом високим тенором, що й він також не спить. А за сими трьома когутами стали відзвівати ся ріжними голосами селянські когути в цілім селі, так що ку-ку-рі-ку тягло ся з пів милі, з одного кінця села аж на другий. А потім знов усе затихло.

Ціле село спало.

Була ясна і тепла ніч на весні. Місяць стояв саме над панським ставком, приглядав ся собі у воді, як у зеркалі, і від часу до часу заслонював очі хмаркою: поганий ставок, повен жаб! аж не мило дивити ся! Він перейшов понад панським огородом і заглянув у громадський ставок: тут очерети і болото і жаб ще більше. Закутавшись у хмарку, місяць пішов далі своєю дорогою і аж над лісом за селом знову роз'яснив свое бліде, повне лице.

*

Річка, що випливала з ліса і, загачена в панськім огороді, творила панський ставок, а загачена в друге на громадській толоці, творила громадський ставок, блисла тепер против місяця сріблом. Небо і повітре стало темно-синє, тільки ліс чорнів оподалік.

Так у сю місячну, весняну ніч дивні річки заподіяли ся в обох ставках. У панськім ставку жили польські жаби, бо пан був Поляк, а у громадськім ставку жили руські жаби, бо громада була руська.

Спершу громадський ставок дрімав; чи втомилися руські жаби після денної жари, бо їх ставок лежав як простерта плахта на сонці, чи може ждали на що, — тихо було у ставку, тільки троща і шувар шуміли ледви замітно.

Один лише самець, Жабур не спав і не дрімав; виліз на листок водяної лілії, надув ся і думав важку думу. Там у панськім ставку о кількасот кроків діяло ся щось незвичайне. Чути було поодинокі голоси жаб, але ціла польська жабяча громада не верещала, як се було в її звичаю і вдачі. Дивується ся руський Жабур, що таке стало ся галасливим польським сусідам; він зіскочив із листка у воду і помаленьки річкою підплів під польський ставок. Виліз на беріг, роздивив ся і зрозумів, у чим діло: панський ставок у тім місці, куди ще місяць кидав своє промінє на воду і на беріг, аж кишів від жаб, що збігли ся до купи і очивидно приготувалися до великого концерту.

На жабуриню був концертний поміст. На

нього вискочив жваво шляхтич, пан Жабчинський і почав промову, звісно, по польськи:

»Куми і кумове! Святкуємо сеї ночі пам'ять нашого поета Адама, що у своїх поезіях геніальним способом описав не тілько людей і інших звірів, але й нашу жабячу громаду. Хто з вас не знає чудового уступу з »Пана Тадея«, посвяченого нашим жабячим концертам! Сей уступ додає нам національної гордості, кожда польська жаба повинна знати його на пам'ять. Описуючи вечірній концерт, наш перший і найславніший у славянськім сьвіті поет призначив найбільше місця нам, польським жабам. Вечірній або нічний концерт на весні без нашої участі не був би концертом; ми найкрасші на сьвіті сипіваки, бо ні даром наш геній описав нас такими віщими словами:

Na finał szmerów muszych i ptaszęcej wrzawy
Odezwały się chórem podwójnym dwa stawy;
Jako zaklęte w górach kaukaskich jeziora,
Milczące przez dzień, grające z wieczora.
Jeden staw, co toń jasną i brzeg miał piaseczny,
Modrą piersią jęk wydał cichy, uroczy;
Drugi staw, z dnem błotnistem i gardzieliem
[mętnym,
Odpowiedział mu krzykiem żałośnie namętnym;
W obu stawach piały żab niezliczone hordy,
Oba chóry zgodzone w dwa wielkie akordy.
Ten fortissimo zabrzmiał, tamten nuci zcicha,
Ten zdaje się wyrzekać, tamten tylko wzducha:
Tak dwa stawy gadały do siebie przez pola,
Jak grające naprzemian dwie arfy Eola.

Мої куми і кумове! Скілько признання для нас у цих словах безсмертного поета! Чим для

покійних Греків був сам бог Еоль зі своїми інструментами, тим для польського народу є ми, польські жаби! Як кавказькі озера, ми мовчимо за дня, розважаємо свою славну минувшину, згадуємо свою вітчину, в котрій жаби могли переплисти з одного моря в друге; за те вечерами і ночами съпіваємо про свою недолю: і fortissimo і pianissimo, і ридаємо і зітхаемо. А в нашім съпіві є нечувана, чисто польська гармонія, наші жабячі ставки складають ся в божескі акорди, показуючи, що одно в нас серце і один ідеал: великий став від моря до моря, себ-то одно велике море, але без соленої води, в котрім ми гуляли би собі без страху перед бузьками і іншими ворогами нашої вітчини! І ми собі такий став знову заложимо і будемо в нім горою над усіми іншими жабами: московськими, українськими і німецькими, горді на свій давній шляхотський рід, на нашу гармонію і організацію суспільної праці, — горді на те, що наш найбільший поет призвав нам першеньство у вечірніх концертах, як найкрасшим польським съпівакам, так що мало-що змінивши слова генія, ми можемо покласти на всіх своїх нотах девізу:

W stawach sobie nucimy, jak arfy Eolskie:
Żadne żaby nie grają tak cudnie, jak polskie!

Бесідник скінчив і по цілім польськім ставку розлягли ся нараз грімкі рехканя і кваканя. Почав ся концерт польських жаб на честь Міцкевича, зложений з патріотичних декляма-

цій, съпівів, гри на сопілках із троші і з гімнастики жабячих соколів. Соколи вилазили на стрімкий, високий беріг і скакали стрімголов у воду, не розбиваючи собі притім нічого. Крик був такий, що аж до села було чути.

Руський Жабур сидів спершу спокійно на березі, приглядався всему і слухав. Але гадка про висність польських жаб страшенно гризла його і обурювала тим більше, чим довше думав він над нею; вкінці крикнув він з обурення: «овва!» і не чекаючи на кінець польського концерту, скочив у річку та поплив у громадський ставок. Найшов тут у троші ученого професора, доктора Жабського, збудив його носом і спитав наляканим голосом:

— Чи Шевченко не писав нічого про руські жаби?

Др. Жабський думав кілька хвилин. Підніс очі до неба і почав говорити поважно: — Наш батько Тарас, заким запалив лучницю правди, волі і науки, мусів перше уродити ся і він справді уродив ся в часи Наполеона Великого, коли в Європі...

— Я не про се питую ся, тілько чи він писав що про жаби?

— Почекай, я тобі скажу: то все треба брати історично, генетично і критично, треба показати звязь...

— Ет! бузько тебе бери!

І Жабур поплив дальше, до громади менше вчених жаб. Збудив усіх голосним окликом: «Куми! куми! ех-ех-ех!» Виліз на листок і ждав.

— Квак! квак! Що таке? — спитала ся його громада.

— Кривда нам! — зверещав Жабур. — Ви спіте, а там у польськім ставку наші сусіди величають ся, що нема понад них, що вони найкрасші съпіваки, порівнюють себе з богами, а нас не мають і за комарів! Мої куми і кумове! Чиж є що на съвіті красше, як українсько-руська пісня, як наші руські жабячі концерти! Нехай поети величають нас або й нї, — ми скромні і съпіваємо не для людий і не для слави, — але наша пісня, наша дума не вмре, не загине! Наші пісні красші, як польські, наші концерти мають европейську славу! Тілько що ми не вміємо так надувати ся, як польські жаби! Але нехай вони собі й не знати які мрії снують про одно море, ми в се їх море не полізemo, ми не дамось, нас більше тут! Нехай собі польські поети величають свої жаби, а ми все таки горою! Наша девіза:

Польських жаб най поїдають
довгоногі бузьки;
жадні жаби не съпівають
так гарно, як руські «

— Жадні жаби не съпівають так гарно, як руські! — засъпівав ставок. — Славно, куме!
Хе-хе-хе!

— Съпіваймо, братя! Покажім, що ми знаємо!

І руський ставок почав съпівати. Спершу жалібно, так жалібно, що аж серце краяло ся, на нуту: «А ти поїхав, мене понехав!» Потім

виступив мужеський квартет і засьпівав: »Реве та стогне Дніпр широкий«, пісню дуже відповідну до нічного концерту на ставку. Далі панна Жабківна, вилізши на трощу, съпівала чудовим сопраном: »Ой одна я, одна!«, збуджуючи загальний смуток у серцах жабячих кавалерів. Вкінці цілий ставок засьпівав *potpourri*, зложене по руському звичаю з похоронних і весільних пісень. Хор був прегарний і разом з ясною весняною нічю впливав на жабячу душу так, що вона розплivala ся по цілім ставку.

Просьпівавши так кільканадцять пісень, руський ставок утомив ся і затих. Коли чує, а в польськім ставку сусіди як почнуть съпівати: »Jeszcze Polska nie zginęła«, — аж луна йде! Гей, як прокине ся руський ставок, як загремить: »Ще не вмерла Україна!«, — настав такий вереск, що й розібрati було годі, що съпівали одні, а що другі.

І не вмовкали вже оба ставки аж до самого досьвіта, коли на край-небі зачервонілося сонце. І були би съпівали привітну пісню самому сонцю, але з села надлетіли три бузьки, стали кружляти понад обома ставками, — всі жаби пірнули у воду і замовкли.

Конюх, що лежав на пасовиску і зовсім пріпав росою, підняв ся помалу і закляв: — А грім би вас побив, прокляті жаби! Цілі ніч спати не дали!

НЕЩАСНА ПРИГОДА.

Зовсім несподівано був я при кінці 19-ого століття съвідком нещасної пригоди, яка навчила мене не маловажити нашої літератури. Така пригода вже може не лучить ся нікому з Українців-Русинів у 20-ім століттю і тому я розповім її на памятку щасливим внукам і правнукам.

Я потребував книжки п. з. »Колоски з рідного поля« і прийшов до одного товариства купити її. Се товариство двайцять пять літ друкувало ріжні книжки і складало їх у своїм магазині. Показчик книжок ріс і ріс, так що по 25 літах потрібний був цілий аркуш друку на вичислене самих заголовків книжок. Сей показчик, розсиланий від часу до часу зі столиці на провінцію, будив там величезне патріотичне одушевлення; кождий народолюбець показував його в потребі противникам народу і казав притім гордо: „Дивіть ся! наша література! скілької!« I потім заховував показчик у столику, щоби при вільній хвилі прочитати хоч заголовки.

Праця не велика, а може придати ся. А ну-ж спитає хто:

— Читали ви »Зелену леваду«.

А патріот вивчив показчик і каже: — Читав! Се вийшло 1890. року і коштує 1 зл.

— Щож ви думаете про сї оповіданя?

— Оповіданя? Нічого собі! Гарні. От не пам'ятаю добре! Все забуваю. Здається, їх написав Пупченко.

— Так.

— От бачите! хоч автора пам'ятаю.

У показчику вичитав і я, що в товаристві можна дістати »Колоски«. Приходжу до урядника товариства.

— Маєте ви ще »Колоски«?

— Ви хочете купити? — спитав він мене здивовано і недовірчivo подивився на мене крізь окуляри.

— А вже!

— Є! є того ще сотки примірників. Дам вам за пів дармо. Ходіть!

Урядник підсунув окуляри в середині носа висше, засвітив съвічку і ми пішли до магазину товариства. Магазин складався з двох комор, одної — неясної, а другої — темної, і був залежений книжками з низу в гору аж під стелю. Колись певно було тут літератури менше, але в остатніх кільканайцях літах вона так зросла, що вже не містилася на полицях і лежала стиртами на підлозі. Під самими дверими тяжким муром, зложеним з грубих книжок, лежала »Славянська держава зперед 3000 літ«; мур був високий на півтора метра, а грубий на метер і ніяка людска сила була би не звалила його, хиба розкидаючи по книжці, як по цеголці. Коло Славянської держави то мурами, то чотирогранними стовпами лежали Байки, Снопи,

Квітки з рідних нив, Зільник, Церковні відносини, Ранішні зорі і Підлісє. На них лежав порох давно не змітаний, але ще гриби не росли. Інші мури книжок подали ся в сей, або в той бік, декотрі й зовсім розвалили ся — і магазин виглядав, як руїни старинного замку.

Урядник поставив съвітло на Славянську державу і зайшов в уличку поміж Історию Руси і Вінки. Як заліз у сю уличку і схилив ся, то й зовсім щез мені з очий. Але небавом, як із ями, витяг він оберемок книжок, поставив на Вінки і придивився заголовкови:

— Е! се »Гірка жіноча доля«! — сказав він, зігнув ся і знову щез мені з очий. Витяг інші книжки і знову придивився. »Зелені левади«! Деж ті Колоски? Десять тут я їх бачив! Лежали за Хатою коло Малої менажерії. Я пам'ятаю!

Урядник шукав далі і зі щораз більшим завзяттям. Я взяв съвічку в руки і посьвітив єму близьше. Він до кількох хвиль обставив перше мене Хатами, Долинами, Менажериями, Нивами, Ланами, Загонами і Снопами, а нарешті кинув мені під ноги Зорі. Я сів на Хату і терпеливо дивився на роботу урядника. Він за хвильку окружив і себе Хмарами, Лунами, Сонячними проміннями, Громами, З півночи і З півдня, Довкола съвіта і вже верх себе поставив »Зорю з місяцем«.

— Нема! — чув я тільки його голос. — Деж ті Колоски до біса загубилися?

І він уже з пересердем став викидати

з дивної ями: В народ!, За народ!, Для народу, Маруся, Оксана, Приська, Вишивки, Жіноча неволя, Руська кухарка, Молитовник, Монастир на горі Афоні, Гній — душа в господарстві, Чернець, Зоольогія, Апокрифи...

Я просто оставців.

— Нема! — чув я тілько крик урядника. — Певно на поліції в горі!

І по хвилині я бачив, як він виліз з ями, став ногами на Оксану (драму в п'ятьох діях і 13 відслонах) і на »Руську кухарку«, поховзнувся, заліз черевиком у »Жіночу неволю«, видрапався знову на верх і став твердо на Апокрифах. Уже простяг руку до горішньої поліції, як отут і склала ся нещасна пригода: поліції стояли перше твердо на книжках і ними також сильно підперті, а тепер підкопані з усіх боків, не могли встояти ся при стіні, під вагою українсько-руської літератури похилилися, — і шур-р-р! звалилися на урядника. Він упав в яму поміж Оксану, Марусю, Руську кухарку, Молитовник і Черця, а зверху прикрили його інші книжки, що злетіли з гори. На книжки впали поліції. Я ледви мав час відскочити і захватити ся за Хатами та Левадами.

Опамятивши ся з переляку, я почув крик: »Ратуйте! Забила мене наша література!« Крик лунав як із глибокої ями. Чим скорше вискочив я з поміж книжок, став на »Зорю з місяцем«, припер поліції до стіни і як стану кидати Хмарами, Громами, Лунами, Хатами, Долинами, Менажериями, Снопами, Оксанами та Руськими

кухарками — аж засапав ся. Зпоміж »Жіночої неволі« сторчала рука нещасного урядника. Я вхопив її і давай тягнути! За рукою з'явила ся небавом голова урядника, без окуляр, потім зпоміж книжок, як зпоміж цегол, виринули пле-чі, далі друга рука — тепер я схопив його за обі руки і на-силу витяг чоловіка з українсько-руської літератури.

Він стогнав і нарікав. — Нема — каже — Колосків! Чорт знає, де вони поділи ся! Тільки окуляри згубив.

— А не болить вас ніщо?

— Ще не знаю. Я в яму впав — поліця не вдарила мене... Щось у голові тілько шумить.

Але се не було так добре, як урядникови здавало ся. Вернувшись до канцелярії товариства, я зараз побачив у нього синяки на лиці. Потім нараз заболіло його в боці, далі не міг рушити лівою рукою, а й до того щось у нозі йому стало ся...

Не було іншої ради; його відвезли до дому. Два тижні лежав він у ліжку і трохи не вмер. Але дав Бог, що підвів ся, і я побачив його знову.

— Знаєте, — казав він мені — що мені найбільше догодило? Там на полицях лежало »Нещасне Коханнє«. І воно то мені трохи костій не поломило! А »Правда« набила мені такого ґудза на голові, що я тепер і знати її не хочу...

1898.

Казка про Невдоволеного Русина.

Під якоюсь нещасливою планетою вродився Невдоволений Русин. Скоро тільки прийшов на сьвіт, зараз вазначив своє опозиційне становище пискливим плачем, котрого ніхто з родини і прислуги не розумів. Та ще коли-б він був сином бідака, то ся опозиція не дивувала-б нікого; а то мав усякі панські вигоди, всі коло нього ходили на почіпках, а він плакав кілька літ ревними слезами. Так уже, видко, було йому на роду написано.

Вело ся йому дуже добре: в гімназії вже належав до паничів, на університеті до золотої молодіжі, по університеті до найкрасших женихів. Він любив панни дуже, а панни любили його ще більше, — все йшло йому як із платка, а Невдоволений Русин проте вічно був невдоволений.

Вкінці він оженив ся, став адвокатом і патріотом, календар «Просвіти» помістив його портрет, потім попав ся в «Альбум заслужених Русинів» — а йому все ще здавало ся, що не має причини до вдоволення. Селяни, котрі мають

сю добру прикмету, що процесують ся, вибудували адвокатови каменицю, а він таки чув ся невдоволеним.

— Що за біс лисий! — думав він собі, — Здається ся, нічого мені не хибус, а радості в серці не чую...

І ось раз засів він собі на вигіднім фотелю, закурив дороге цигаро і після давнього клича: »Русине, пізнай себе, буде з тебе«, став думати про свою вдачу. Думав, думав, нічого не видумав.

Надійшла жінка, він її питав ся:

— Не знаєш ти, серденъко, що мені справді хибує? Вже й каменицю свою маємо, вже й купки діточок доховали ся, вже й бочка вина стоїть у пивниці, а мое серце не має спокою.

— Тобі, мій любий, тепер гонорів би треба. От якби ти послом був — вітхнула жінка:

Невдоволений Русин аж підскочив. »Господи! — каже. — Які сї жінки здогадливі! Адже справді мені ще тілько гонорів треба! А я так ломив собі голову... Правда, мене вже видрукували в календарі »Просвіти«, але що се мені за честь! Там поміщають портрети й американських шинкарів і хлопів, — і вже так перебрали всіх патріотів, що не знати, звідки їх більше і взяти...

Отже як помогла жінка Невдоволеному Русинови себе піznати, він мов на сьвіт народився. Зараз уложив собі нову програму життя. Став уряджувати у своїм повіті ріжні віча і збори,

щоби »хлопи« завчасу його пізнали і добре зміркували, що він один зможе їх вивести з єгипетської неволі і з дому роботи.

— Хлопи! — говорив він грімким голосом на вічах.

— Ви всі дураки!

Голоси вічевиків: — Певно, певно! Зкідки нам усе знати?

— Лише я один мудрий — казав меценас далі. (Віче съпіває бесідникови многая літа). Дя-
кую вам за довіре! За се я буду всюди за ва-
ми обставати. (Голоси: славно!). Нам діє ся ве-
лика кривда (голоси: кривда нам!), заяці ходять
у нашу капусту, а ми не съміємо їх стріляти...
Так, чи ні? !(Крик: кривда нам!). Дністер пливє
через наш край і виливає, а ніхто не старає ся
скасувати його! (Голоси: Загатити його! На
Венгри пустити!). Так є! Треба постарати ся, аби
не шкодив нам. Крім того від панів треба ві-
добрati ґрунти і роздати хлопам. Цісарска каса
має зашлатити всі довги за хлопів. (Загальні
зітханя: Подай Господи!). Гуска соли має ко-
штувати тілько три ґрейцарі! Коли хлоп дасть
сина до школи, має за се дістати сто ринських.
Суди і нотарів скасувати! Податки за поле до
десятьох моргів скасувати! Хлоп повинен у вой-
ську служити так само лише один рік, як па-
ничі. На старість кождий хлоп повинен дістава-
ти пенсію з цісарскої каси. Держава повинна
асекурувати всіх від огню, граду, тучі, злої при-
годи, від миший, повені і від смерти. І коли
хто виходить з войська, повинен дістати цісар-

Наші знакомі.

2

ський мундур до дому і »гвер«, аби мав на зяці... (Всі вічевики такі одушевлені, що просто не можуть добути із себе ніякого голосу). Тай богато дечого іншого потрібно ще нам: от хочби се, що хто сьміє заборонювати нам мочити у потоках коноплі під час холери? (Голоси: Ади! Та бігме, правда!) От якби я був послом то я би о те все постараав ся. Бо теперішні наші руські послі то самі зрадники — чи правду кажу? (Голоси: Святу правду! Зрадники! повісити їх!) Були в нас перше послі-священики, були потім послі-професори, — ті дбали про церкви і школи, а про вас хлопів ніхто не дбав. (Голоси: Кривда нам!). Аж тепер, коли настануть послі-адвокати, буде вам добре! Як станемо процесувати ся, всі справи для вас виграємо. (Загальне зітханє). Ми не будемо на нікого оглядати ся, будемо все жадати того, чого не хотять наші любенькі сусіди — Поляки; як не схочутъ давати, то видремо, а все для вас, милі братя хлопи, що вас кождий обдирає, (один тихий голос: »І ви також!« — Меценас дивить ся згірдно в сей бік і каже даліше): а ніхто вам не помагає...

Вічевики одні кричать »славно« і плещуть у руки, інші хапають бесідника на плечі, обносять його довкола салі і сьпівають довге, дявівське, празникове »многая літа«.

— А тепер, хлопи, може би ми дещо перекусили? — говорить меценас ласково з висоти селянських пліч. Одушевлене зростає ще більше і в гурті роздається нове »многая літа«,

панське, що починає ся від басового соля: »Со-
твори Господи!«

З сих віч були все справоздання в »Дѣл-ї«. Писав їх депендент адвоката. »Всякі були вже патріоти, — читали люди в часописи — і великі і малі, і голосні і тихі, але такого ще не було. Той то як скаже слово, то хлопи з одушевлення аж волосс рвуть на собі. Остатне віче показало, що хлопи вже знають, хто їм брат, а хто їм ворог; то сила, котрої і »врата адова не одоліють«. І т. д.

Заходи Невдоволеного Русина не остали ся без успіху: його вибрали послом. Там, правда, за нього одного виборця закололи, а трийцять і сімох продержали по кілька місяців і по рокови у вязницях; але се вже; таке право природи: кождий політик пожирає скілько там людий, щоб сам міг жити, — хто би там жутив ся і десятками зруйнованих селян, де справа йде про міліони?! »Жертви мусять бути!«

Невдоволений Русин не сим був невдоволений, тілько чим іншим. Ото показало ся до кількох місяців, що посольство — се зовсім не така честь, що могла би його заспокоїти. Він був невдоволений з усіх послів і з усіх властій, краєвих і державних. Він і сказав раз се усім в очі, а за причину свого невдоволення подав — правда, не все те, що казав селянам — всеж таки подав заяців у руській капусті, дорогу сіль, мочене конопель під час холери і повені.

Успіх сеї промови у галицьких Русинів був величезний! її надруковали у часописях, пере-

*

друкували у книжечці і розкинули тисячами примірників по селах. Проте все Невдоволений Русин не був вдоволений; ходив смутний і щораз частіше почав опускати засіданя. Товариші-посли не дивилися на нього, як на нового пророка і се його найбільше гнівало. »Що з дураками говорити?« — сказав він собі. — На мене ще не прийшов час!«

Коли прийшли нові вибори, Невдоволений Русин кандидував знову, але передвиборчі збори зовсім не давали йому тепер вдоволення: йому завдавали селяни зовсім нерозумні питання: чому ще панських ґрунтів не поділено між людьми, чому не скасовано ще податків, чому Дністер пливе собі як перше через Галичину і т. п. Меценас відповідав, як міг, але не був із своїх відповідей вдоволений.

Коли ж до того не вибрали його вдруге послом, Невдоволений Русин остав ся уже таки на віки невдоволеним. Лише съвідомість, що він ніколи не буде вдоволеним, додавала йому такої гордости і певності, що він деколи майже був вдоволеним з того, що ніколи не може бути вдоволеним.

1895.

Як я видавав газету.

Ще як я був на університеті, вичитав я у якісь книжці чи часописи, що кождий порядний чоловік повинен бути хоч кілька літ редактором. Навіть король Гумберт казав, що якби не був королем, то хотів би бути редактором. Легко то королям говорити такі масні слова; Гумберт певно не чував нічого про долю руських редакторів. Тай я не знат про неї богато, а що вважав себе порядним чоловіком, то був редактором кілька літ.

Кілька літ житя в руських редакціях! Воно врешті не так богато, але все таки досить, щоби любі земляки відобрали редакторови віру в себе. Доки я не був редактором, то був глибоко пересвідчений про свої добре наміри, про свою чесноту, словом про те, що я порядний чоловік. Але як я, по кількох літах редакторської кариєри, зачав видавати в Чернівцях політичний дневник, то до двох літ зміркував докладно, що такий съятий та божий я не є, як я собі думав; бо мої політичні противники повторяли безнастанно, що я не лише редактор, але ще й панський лъокай, котрий найбільше

вдоволене находитъ у лизаню панських лаб і ніг та наставляє руку на Trinkgeld-и, що я чийсь підніжок, не письменний письменник, глупий патріот, зрадник, що свій народ хоче доконче втопити в ложці води, що я наймит Єзуїтів, агент польської шляхти для ширеня ягайлонської ідеї, що я гадюка, яничар, доносчик, блягер і т. д., а славний руський поет і політик Грубопиский посвятив мені вкінці у гумористичній »Стрілі« ген'яльну епіграму:

Чи се не новий Орфей?
Ні, се славний Маковей!
Засьпіває — чути свист,
в його слові — пес єй хист.

От що чого мені хибувало! Таким то дивним сотворінем бував часом руський редактор...

Всі ті свої титули я знав на память, бо чув їх сотки разів, і привик до них так, що слухав їх уже з таким вдоволенем, як мельодийних віршів віщого поета Грубописского про »Велику Маму«. До всого чоловік привикне...

Але прийшов раз день і Русини так мені догодили, що я почув страшний жаль до них. У »бінку такої слави«, як я описав, у люту спеку липяеву, коли вже ті, що »роблять« політику, відпочивали на лоні природи, а я в поті не лише чола, але цілого тіла, сидів у комнаті мов у парні та сповняв свій »чесій« обовязок — у таку то днину редакційний слуга приніс мені в почти часописи, а листонос кілька листів.

Став я читати часописи і листи і ось що вичитав у них:

1. Лист від о. пароха Лизуновича:

»Впв. Пане Редактор! Прошу мені посилати дальнє свою газету, без котрої я не можу обійтися. Я читаю її дуже радо, але із заплатою за минувший і теперішній рік ще почекайте. Наших Москалів ви побиваєте за мало. Сю породу треба знищити з лиця землі, нехай не заваджає! Люта статя хочби щодня против них нам певно не пошкодить.«

2. Отвертий лист без підпису:

»П. Т. панскій лакей и доносчикъ! Какъ тебѣ не обрыдло пысать день въ день всяческія вздоры на москалефиловъ! За послѣднюю статью ты заслугиваешь самаго большаго пропрепанія. Воръ ты и Геростратъ русскій, какого свѣтъ не видалъ. Подлецъ!«

3. В »Батьківщині« вичитав я, що »панські льокаї вміють лише на москоофілів гавкати, хоч між москоофілами є також порядні люди, так звані »староруси«, з котрих ще можуть бути руські народовці, коли тілько схочуть. А ось на польське правительство накинути ся, так як ми се вміємо, то штука!...«

4. В »Ділі« товстий меценас-фейлetonіст посвятлив мені такий уступ: »Жидівських сім братів Маковеїв згинули за свій нарід, дали із себе шкіру дерти і виrivати язики. А наш руський Маковей умудрив ся і не хоче дати із себе шкіру здерти; тримає ся панської клямки і лиже панам ноги. Так то низько упадає теперішня наша молодіж, що не знає ніякого по жертвовання, лише аванси і посади.«

Я аж за голову вхопив ся, прочитавши се: одно, не знат я, на що кому здала ся моя шкіра, з котрої ледви чи були би хоч сильні черевики; а друге: мене просто здивував мій аванс і моя посада руського редактора!... Опамятавши ся троха із надмірно сильного враження, бо се вже не переливки: діло йшло про мою власну, рідну шкіру, я взяв у руки лист.

5. Лист від д-ра Льва Масненського, моого дописувателя: »Дорогий! Вичитав я нині вечером у »Ділі« напасть звісного мецената на Вас. Не дайте відстрашити себе тим від чесної роботи, яку ведете. Не щадіть нікого, лупіть противників по головах, щоби їм аж очі застутило. Опозиційники — ідіоти! З такими людьми нема що делікатно обходити ся! Добре зробили Ви, що чіпили так »файноз« о. декана Розбішацького — добре йому так! Всім се дуже сподобало ся.«

6. Моя газета, звернена *retour*, а в ній новинка про о. декана Розбішацького зачеркнена синім оловцем, із заміткою: »Остатна підлота! На що ви зійшли, редактор?! На доносчика! А ми такі надії мали на вас!«

7. Лист від читателя: »Ваші »Образки з села« прекрасні! Вони навели мене на думку, що у нас ширене антисемітизму було би дуже поплатне. Жиди з Русинами не мають нічого спільногого, лише визискують нас. Геть із ними до Палестини!«

8. Статя у волоській часописи *Bukowiner Post*: »Тутешні Українці спровадили собі з Га-

личини на редактора правдиве галицьке зіленько. Сей заволока їздить разом із руськими послами по вічах і агітує против жидів, котрі є одиноким культурним елементом по селах. Так само тепер у статях п. з. »Образки з села« ширить він завзятий антисемітизм. Дуже сумніваємося, чи Русини добре вийдуть на такій небезпечній грі».

9. Лист із села від відпочиваючого посла:
 »Бійте ся Бога, редактор! По що Ви помістили сї »Образки з села«? Тепер готові мене жиди з нашого клубу чіпнути у соймі. У нас ще антисемітизм не на часі, не треба дразнити жидів. Замажіть якось ту справу. На^уиньше годжу ся. Отже Ви справді по європейськи поступаєте собі, що стараєте ся станути понад обома церквами, православною і уніяцькою, а упоминаєте ся лише, щоби обі церкви сповняли свою задачу. Таке становище найрозумнійше! І се добре, що часом духовенству виказуєте його хиби. Се у нас дуже потрібне!“

10. Лист від каноніка, що писав звичайно у »Душпастирі«: »Ми обурені! Ваша статя про нові вибори до ради державної п. з. »Що робити«? написана зовсім у радикальнім дусі! Того ми по Вас не сподівали ся.. Про нашу опозицію пишете також так, якби з нею хотіли числiti ся або її поважати. Се скандал! Мушу Вам призвати ся, що від якогось часу Ваша газета мені чим раз менше подобається. Обстаєте за православієм, а про обхід берестейської унії і про католицьке віче подаєте лише холодні

справозданя! Мусите станути виразно на католицкім становищі, против православія; інакше на нашу поміч не можете числiti. Духовенства не чіпайте і похібок його не виволікайте на божий съвіт! На духовенстві опирає ся вся Русь. Съвітські Русини -- що иньше, про їх блуди можна говорити прилюдно...«

11. Уступ із »Галичанина« п. з. Жалкіи типы отрицательного достоинства. Отвратительно смотрѣть на то, якъ черновецкій органъ новоеристовъ кокетничаетъ съ іезуитами и съ польско-панською политикою, обчисленною на исковерканіе нашей св. Руси. Тѣ соболѣзвнованія достойны типы, исполнены самихъ низкихъ инстинктовъ, — тѣ агенты, работающіи въ пользу іезуитско-польско-ягайлонской идеи, пренебрегаютъ наши историческіи нача-ла» і т. д.

12. Уступ із радикального »Громадського голосу«: Панські лаболизи, з чолом як у бика, а лицем, як підошва, і їх органи (тут названа і моя газета), що на хлопських справах розуміють ся так, як свиня на перцю, удають від часу до часу, що їм хлопська доля також лежить на серцї. Одна з рептильних часописій у статї п. з. „Що робити?“, від котрої лизунством аж смердить, поважила ся також заговорити про п'яту виборчу курию, коли ми тимчасом сю справу вже роз'яснили найліпше з усіх. Чого їм мішати ся до наших хлопських справ, коли тілько ми розуміємо ся на тім найкрасніше, а їм лише аванси і посади в голові?! Врешті такі самі дурні і редактори »Діла«...

13. У >Страхопуді< найшов я образок: На медведя наскочили собаки і гавкають страшено. Але се не собаки, тілько часописи. Моя газета нарисована як якась собака із свинським рилом і >бреше< на весь голос...

Прочитавши те все, я почув до Русинів несказаний жаль, котрий разом із страшною жарою зовсім розвбив мене. >Боже мій, думаю собі, як тут Русинам догодити? Всі добрі, всі мудрі, а кождий говорить інакше. Мушу я раз їм усім догодити«.

От я усів, написав і того таки дня надрукував дуже гарну статю під заголовком, узятым із поезії п. Грубописького:

„Воскресене Великої Мами“.

На дворі страшенна спека. Вакациї. Політичне жите на Русі на хвилину притихло; та-кож мас вакациї. Наші дорогі посли спочивають у холодочку і набирають сили до дальшої праці в хосен безталанної матери-Руси. Дай їм, Боже, витримати! У таку пору варто роздивити ся по руськім горизонті, чи на нім не збираються деякі хмари, і порадити, що дальше робити.

Призадумавшися глубоко над нашими відносинами, ми бачимо, що найрозумнійшою партією у нас є радикальна партія; хоч годі заперечити, що дуже розумні є й опозиціоністи, а вже понад партію реалістів розумнійшої нема! Яка одна, така друга і третя, всі себе посполу доповнюють: одні тягнуть, другі пхають, а віз поступу, на котрім сидить Заплакана Мати, все посувався статочно наперед.

На церковнім полі ми собі рідні братя, так уніяти як і православні. Одні мають свою єдиноспасительну церкву, другі свою єдиноспасительну церкву, і обі сії церкви повинні себе любити, бо хто як хто, а церкви, що стоять на сторожі любови ближнього, повинні передовсім себе посполу любити.

Ціле наше духовенство без виїмки дуже красне і патріотичне. Без нього не остав би ся і слід із Русинів на землі. Навіть о. декан Розбирацький се правдивий учитель народу, бо він показує своїми власними поступками, як люди не повинні робити, а ся наглядна метода науки уживана, як звісно, тепер у всіх школах. Так само всі ті чесні і високоповажані съященики, що за минувший і за сей рік завинили нам звиш 5000 зр. »передплати« — то також патріоти, бо вони з пожертвованем читають усяку газету, хоч за неї не заплатили.

Москофіли дуже тверді патріоти; нищити їх не годить ся, бо то найдорожча спадщина по наших розумних батьках, дорогоцінний антик, правдивий руський »аритас«. Але щоби вони були ще більшими патріотами, як є, то ми радимо заплатити їх провідникам більше, ніж їм платять Москалі, а тоді вони позбудуться деяких своїх хиб, що могли декого з нас разити.

З жидами радимо обходити ся делікатно. Коли Мошко обідре дурного Івана так зручно, що не може дістати ся до криміналу, то Мошка варто за се поцілувати; такий проворний і здатний до життя елемент потрібний усюди. А дур-

ного Івана випадає також погладити по головці за те, що жив стілько літ і не навчився нічого; він же наш »меньший брат«...

Руській молодіжі радимо, аби чимскорше давала із себе дерти шкіру, як кору з берези, бо інакше поросте в пірє і буде могла літати. А вона не сьміє літати, тільки стояти коло своєї Мами після слів віщого поета Грубописького, котрий каже, що як молодці

— стануть поуз себе съміло,
як підіймуть вільні руки,
вкінчатъ съяте, велике дѣло,
утихнутъ стони болю-муки
і середъ слави тіміяму
воскреснешъ намъ, Велика Мамо!•

Видрукувавши таку патріотичну статю про Велику Маму у своїй газеті, я чекав нетерпеливо на відзвіви руських часописій і на признання. Ale тут я гірко розчарувався і побачив, що всім Русинам ніхто на світі не годен догодити. I не то всім, але навіть десятком у рівній мірі не догодиш! Даремна праця!

Що по сїй статї прийшлося мені почути, з того можна би зложити цілий словар самих кріпких слів. Усі руські часописи приписали мою статю не майому доброму серцю, що я всім хотів догодити, лише наслідкам спеки і моєї бездонної глупоти, — так що я аж по тім усім прийшов до розуму, і щоби не затроювати собі дальше житя, рішився поїхати далеко, аж

за море до Канади. Там заміню перо на плуг і буду орати тамошні степи, а до >старого краю< верну аж по лїтах з міліоном. Тоді я у всіх Ру-
синів буду мудрий...

Новітній плуг.

З того часу, як у хаті Сенька Гримали між образами появила ся оправлена в рамки членьска грамота товариства Просвіти, Гримала немов відмінив ся. То був чоловік, як інші люди, а тепер нараз згордів, якби великого розуму доскочив. Довгі часи і сам він ставав перед цею грамотою та любував ся нею, і людям, що приходили до нього, показував її та не забував притім сказати, що на ній він написаний: Сенько Гримала, господар в Голодній Ямі. Люди оглядали грамоту і дивувалися. Що за образ! Такого вони ще не бачили. Святий не святий, бо звідки-ж Грималі бути на святім образку, а таки тут і церква і якийсь ангел із смолоскипою, і мабуть злий дух з крилами на землі — а з боку »Сенько Гримала, господар в Голодній Ямі«. Та колиб ще він сам лише, але тут і синя печатка і підписи якихсь панів зі Львова. Чудний образок тай годі, такого на ярмарках не продають. І звідки Грималі прийшло на думку запізнати ся з тими панами зі Львова? Післав за порадою дяка одного ринського, а вони єму звідтам і грамоту і книжочки і »каляндар« — все за того одного ринського...

— Наші люди нічо не розуміють — говорив Гримала перед дяком, в котрим від часу своєї приналежності до Просвіти частійше ходив ся і читав газети. — Хто з них, на приклад, знає, що тепер діє ся в Болгарії? Якже там, пане ревній, найшли вже тих, що вбили Стамбулова?

— Ні ще, — відповів пан ревній — в газеті стоїть, що й не найдуть тих розбійників.

— Ото вам порядки! І де вона є, та Болгарія? — питав ся Гримала цікаво.

— Під Турком.

— А Турок де?

Дяк також не знат, де є Турок, але се не шкодило ні єму ні Грималі, живо займати ся болгарськими справами. Гримала знат справу убийства Стамбулова так, що раз і жінці став її розповідати; але жінка слухала його дуже неуважно, він махнув рукою, сказав: »Де жінкам до політики!« і вже більше з нею в політичні розмови не вдавав ся.

Вичитав раз Гримала в газеті, що товариство Просвіта устроює господарське віче і запрошує на нього всіх своїх членів. Грималауважав тепер за свій обовязок поїхати на се віче, тим радше, що й дяк мав охоту.

— Ти куди знов? — спитала жінка, побачивши, як чоловік запрягав коні.

— На господарське віче.

— Се що таке?... Тілько дармо худобу змучиш.

— Ет, що ти знаєш! — відворкнув Гrimала, взяв із собою хлопця, щоби було кому пильнувати воза, забрав дяка і поїхали.

В магістратській салі міста, де відбувалося віче, повно селян з ріжних сторін. Сидять собі, як пани на кріслах, і слухають науки. Між ними й Сенько Гrimала, сидить разом з дяком, дивить ся та слухає, що пани від Просвіти говорять. Вийшов один старий панотець і каже, яка то Просвіта славна і як вона дбає за селян. Гrimала згадав свою грамоту — і промова панотця йому сподобала ся. Був би плескав в руки, так як якісь люди недалеко нього, але йому видало ся, що се дитяча робота плескати в руки, так він і сидів мовчки. Вийшов другий пан і каже: «Поздоровляю вас, мої панове, що приїхали з ріжних сторін, не жалували труд... Могло вас з'їхати ся більше, але й так добре!» Гrimала був дуже рад, що ніхто не міг мати до нього жалю, що не приїхав. Вийшов третій пан і став говорити про крамниці. Гrimала слухав якийсь час і промову зрозумів так, що всі селяни повинні поробити ся крамарями. Він подумав собі, що не має потреби крамарювати, розсів ся вигідніше на кріслі, склонив голову і став згадувати військову музику, що чув її на улиці, як ішов сюди на віче. Прийшли йому на думку його літа служби у війську — і він задрімав. Досьвіта встав був і сон ломив його. Не довго дрімав, і не коротко, але як пробудив ся від оплесків, то вже того пана, що говорив за крамниці, за столом не було, а дея-

кі селяни виходили із салі. Гримала встав і пішов за ними, лишаючи дяка в салі. Вийшов на місто, походив по ринку, оглянув склепові вистави, пішов подивити ся до коній, випив горівки, перекусив дешо і знов вернув ся до магістрату. Селян було тут уже не так богато, як перше, але ті, що були, вже не сиділи, а стояли, приступили близше до стола, за котрим сиділи пани, і натягнувши шию щось оглядали та слухали. Перед столом і на столі стояло кілька коловоротів, щепи, насінє трави в мішочках, млинок до чищення збіжа, кінський сапач і плуг. Жвавий панок стояв коло плуга і говорив поважно:

»Плугом оремо землю. (Ну, ми се знаємо! подумав собі Гримала). Плуг старший, як перо, котрим пишемо, і хто знає, чи не вартішій. (Певна річ! Перо дістанеш за крейцар а плуга ні! — обізвав ся Гримала до дяка, що стояв коло нього, але так голосно, що се почув і бе-сідник). Се не так треба розуміти, — говорив пан дальше — плуг вартішій тим, що він для нас всіх оре землю, на котрій росте хліб, а пером землі не ворете. Щоби то було, якби не було плуга? (Голоси: Біда!). Чим би тоді люди землю орали? (Гримала аж розняв руки з дива: справді, чим би люди землю орали, якби не було плуга?). Отже бачите, мої панове господарі, який важній є плуг. Але сей плуг, що тут стоїть, не такий, як ви уживаєте. Ви уживали до недавна деревляних плугів, тепер уже маєте зелізні, але такі, що тілько одну скибу ріжуть

а отсей плуг ріже вам відразу дві скиби, бо в нього два чересла. (Гримала став на почіпках, аби ліпше побачити плуг: справді, у нього були два чересла). Такі плуги повинні ви у себе завести, бо з ними половина роботи; за пів дня можна зорати поле, що ви орете цілій день. (Хитро! — обізвали ся деякі голоси). А тепер, коли я вам уже объяснив, як уживати млинка, сапача, коловоротів і плуга, приступимо до роздавання премій. Будемо лъосувати, хто ті річи, що тут стоять, виграє. Хто виграє, той може забрати їх собі до дому за дармо. А забравши їх, най другим показує і шанує їх, бо декотрі з них дорогі; сам такий плуг коштує сорок зр. (Ов! — не втерпів Гримала — отсе би варто дістати!).

Стали лъосувати: одна читальня дісталася млинок, друга коловорот, деякі господарі подіставали господарські книжки, щіпи, по кварті насіння купчатки, один дістав сапач, дяк із Голодної Ями дістав також коловорот — лишився ще плуг. Ох, коби то я його дістав! — подумав собі Гримала — і чи він в таку годину сказав, чи так уже Бог дав, вийшов пан за стіл і каже: »Плуг виграв господар Сенько Гримала з Голодної Ями!«

— Я тут! — крикнув Гримала і став притискати ся помежи люди до свого плуга, якби бояв я, щоби хто не забрав його.

— Можете собі плуг забрати — сказав пан.

— Дякую вам, паночку, за ласку — промовив зворушений Гримала і хотів пана поцілувати в руку.

*

— Не мені дякуйте, а Просьвіті, що за вас дбає — відповів пан поважно.

Гримала був би з радної душі подякував Просьвіті і був би поцілував її в руку, навіть оглянув ся, так якби сподівався найти її в салі, але не побачив її, отже станув коло плуга і почав його оглядати. Сорок ринських коштус! Такого плуга, як Гримали Грималами, в їх роді ще не було. Гримала схилився і пробував підняти плуг. »Ов! тай тяженський собі! Підняти годі!«

— Кілько він важить? — осмілився ще Гримала спитати ся в пана, що говорив про плуг.

— Вісімдесят чотири кільограмів — відповів той.

— То се кілько буде так по нашому?

— Близько два сотнарі. От якби два кірці проса.

— Гм! — подумав Гримала. — Ну, побачимо! А забрати треба; не лишу його.

Пішов по віз, заїхав перед магістрат і при помочи сина і дяка з тяжкою бідою зніс плуг по сходах із першого поверха в низ на віз.

— Се що за плуг такий? — питався син.

— Ну, плуг, на два чересла, дві скиби відразу кладе.

— Та як таки: цілий зелізний? Чепіги зелізні, гряділь трохи не весь зелізний, чересла, леміш — —

— Е, що ти знаєш! Їдьмо!

Дяк поставив коло плуга свій коловорот,

сів поруч Гримали — і поїхали. Дяк не дуже тішив ся своїм коловоротом, не знав добре, що з ним і починати, та кривдував собі, що дістав таку дешеву премію; за те Гримала був дуже рад, що йому трафила ся така дурничка. Одного ринського дав Просьвіті, а вона йому за те і грамоту і книжки і календар і плуг за сорок ринських... Добра ота Просьвіта, дай їй, Боже, здоровля!

Приїхавши до Голодної Ями, дяк поніс свій коловорот до дому, а Гримала скинув плуг до шопи і постановив собі зараз при першій нагоді спробувати його. Жінка відраджувала йому се, щоби люди з нього не съміяли ся, що якісь новини заводить, але Сенько не думав жінки слухати. Дві скиби класти відразу — се полек-ша велика, половина роботи, як казав той пан на вічу.

В тиждень потім, скоро съвіт, зайшов Гримала до шопи. Тут у куті лежав старий плуг з одним череслом, з деревляними чепігами і деревляним гряділем, а коло нього недалеко новий плуг з двома череслами і майже цілий із зеліза. Лежали вони мовчки, як два чужинці, один із селянського, другий з панського роду, що зовсім не мали охоти себе пізнавати. І Грималі прийшла до голови якась незвичайна думка, коли поглянув на сі два плуги, бо притім усьміхнув ся. Він не без глуму в погляді приступив до старого плуга, поставив його гряділем на землю, а череслом до гори, і повернув ним сюди-туди, мов легенъким пером, завдав

собі його на плечі і спер потім о стіну. Се іграшка, не плуг, а отсей новий, то се що інше. Гrimала, правда, підняв його з землі, але зараз і поставив, аби не подвигати ся. Прикликав жінку, аби помогла йому винести плуг на віз.

— Чому ж не причіпиш його до теліжок?
— питався жінка.

— Ще нині не хочу з ним так через село їхати, радше в полукишок сковаю, перше мушу спробувати. Кладім його на віз!

Висадили плуг на віз, і старі деревляні теліжки до нього. Сі теліжки ніяк не годилися до сего панського плуга, але завдане їх невелике, міг і на них спочивати гряділь новітного плуга.

Разом зі своїм хлопцем поїхав Гrimала на ниву під ліс; з тяжкою бідою стягнув знову плуг із воза, причіпив до него сворінем теліжки, запряг коні і почав уставляти чересла. Не легко воно йому йшло; він аж засапав ся, переносячи плуг під межу ниви. Притиснув чепіги і »вйо!« крикнув на погонича і на коні.

Коні шарпнули, оба чересла зарилися гладко в землю. Та не вспіли коні увійти з десять кроків, як станули, відсапуючи тяжко.

— Чому не поганяєш? — питався Гrimала і дивить ся на дві рівні скиби за собою.

— Вйо! — крикнув погонич і вдарив коні батогом,

Коні знов рушили, потягли плуг на два кроки і станули.

— Що таке? — дивує ся Гримала. — Поганяй, бий сиву, то вона така лінива!

Під ударом бича сива так шарпнула, що сворінь вихопив ся з гряділя і теліжки відскочили від плуга.

— Треба іншого своріння, тут дірка за велика — доміркував ся Гримала, засадив знову зелізний сворінь, а крім него всадив ще дерев'яний кілок, аби сворінь придержував.

— Ано! поганяй!

Плуг поступив знов зо два кроки і станув.

— Ага! Се ще треба тою кермою вміти орудувати, аби чересла йшли в лад — подумав Гримала, витяг чересла з землі і подивив ся, як вони стоять. Здається ся, добре, тільки землі набило ся поміж них, тому так тяжко йде. Вибив землю істиком, засадив чересла знов у землю і казав поганяти. Коні натягають ся, як струна, сопуть та оглядають ся, що за морока з плугом; давнійше так тяжко не йшло.

— Аж коні впріли! — замітив погонич.

— Ну-ну, ти не питай, лише поганяй!

Погонич удариив знов сиву, а та почуваючи ся до тяжкого обовязку, так широко потягла плуг, що урвала обі шлиї і стала собі обіч плуга ні в сих, ні в тих.

— На, маєш! — промовив з резигнацією Гримала, покинув чепіги і став вязати посторонки. Та вже брала його трохи злість, що так йому не веде ся.

Звязав шлиї, як міг, знову запряг сиву і казав поганяти. Коні знов не слухали; вже й давали себе бити, а не йшли.

— Та бо ти, хлопче, не знаєш поганяти! — угніявся вже Гримала і як крикне на коні «вйо!» — ті мов у нестямі рванулися і — нараз розлетілися теліжки; зломилося одно колесо.

— А щоб тебе смага втяла та з новим плугом невиданим! — промовив Гримала і безрадно розвів руками.

— Та бо то, тату, плуг на наші коні за тяжкий! — замітив погонич.

— Гм! — воркнув Гримала — се правда! А я гадав, що се так буде, як з нашим плугом.

Відчіпив теліжки і глянув на плуг такими очима, якби мав до нього жаль.

— Шкода, що такий дорогий! Та вже нема іншої ради, берім його на віз, або вертай, сину, по старий плуг. Ба, правда, теліжки поломані! Головонько-ж моя бідна! Otto наорав подвійних скиб!

При висаджуваню плуга на віз, хлопчико підсадив так незручно руку під гряділь, що аж скричав із болю і пустив плуг. Той скрутівся на драбині в бік Гримали і зсунувся так на гло на землю, що трохи Гримали не роздавив.

Гримала відскочив в пору і нарушив притім проклоном всю плугову родину.

— Ну, та певно, якже його, бісового сина, мої коники можуть тягнути при ораню, коли він такий тяжкий! — замітив по хвилі з пересердем.

Другим разом пощастило ся висадити плуг на віз без пригоди. Гримала сів із хлопцем і повернув віз на дорогу до села. Соромно було йому, сам не знав, від чого і за що. Сидів похнюплений і злий. І треба було, що в таку хвилю на дорозі переймив його дяк, побачив на возі плуг і поломані теліжки, і як на глум спитав ся у Гримали:

— То ви вже так рано зорали ниву?

— Ага, зорав щоб його...

— Щож таке? Недобрий плуг?

— Та нічого, плуг добрий, але не на мої коні. До нього би волів треба, та ще й не аби яких, або двірських коний...

— Якже тепер буде?

— Не буду-ж я до нього купувати двірські коні і зелізні теліжки! Ще чого не бувало! Тілько шлий мені порвав, теліжки поломив, хлопця придавив і мене самого трохи не забив. Та се вам ціла машина, а не плуг!

Дяк усміхнув ся вдоволено і від сего усміху дуже заболіло в Гримали. Щоби відплатити ся, він спитав у дяка:

— А що-ж ваш коловорот? Добре нитки суче?

Дяк скривив ся. — Жінка, каже, ані думає в руки його брати. Як треба, то й веретеном нитку всуче. От тілько діти мають забаву. Вже й попсували.

Розіпшов ся Гримала з дяком, поїхав до дому. Тут йому ще й жінка досолила так, що

він із пересердем закинув новітній плуг аж у сам куток шопи, і взяв ся ладити теліжки.

Потім витяг свій старий плуг, закинув його на плече, виніс перед шопу і поклав обережно на землю. Чересло старого плуга, мов лице селянина, котрого люди пошанували, блиснуло радісно на сонці. Сам Гримала дивився тепер на старий плуг так, якби найшов на нім щось доси невидане...

Два роки лежав новітній плуг у темнім кутку шопи в поневірці, поки Грималі не прийшла думка викинути його, бо без потреби заваджав. Заніс його нишком до коваля на продаж.

— Щож вам за нього дати? — спитав коваль. — Тай хто відкупить його від мене? Ніхто з наших не потребує таких плугів.

— Та вже дайте що-небудь, — відповів Гримала, — а цвяхи з нього будуть добрі.

І коваль відкупив новітній плуг на цвяхи...

1898.

Як я продавав свої новелі.

Не знаю, що мені торік було стало ся. Я захотів стати славним і заробити на Русинах гроші тай видав своїм власним коштом свої новелі під патріотичним заголовком: »На святій Русі«. Новель було десять, всі незвичайно гарні і цікаві, як се признали славні критики з газет: »Місяць«, »Чин« і »Русь«. В новелях тих рішив я кілька дуже важних суспільних питань, як питанє релігійне, соціальне, жіноче і інші; також подав я читачам ідеальні типи: руського священика, що на народні цілі призначає що року по 200 зр.; москофіла, що не говорить дома по польськи; панни Русинки, що дуже бажає вчити ся на університеті фільольгії; руського посла, що через цілій рік єсть тільки картофлю і борщ, а всії свої доходи відступає на народні цілі; руського письменника, що своїми творами заробив у Русинів 200.000 і купив собі село — словом вивів я на світ божий Русинів таких, що не сором показати їх цілій Європі. Особливо вдала ся мені одна новеля з романтичною закраскою, котра богато панночок довела до горячих сліз і до того, що

мене на вечерках, коли дами мали вибирати до танцю, аж з буфету тягнули на салю танцювати. Вправді я в танцях далеко не такий зручний, як в орудуваню пером, але сей обяв жіночої ласки доводив мене також до горячих сліз вдячності. Нема вдячнійшого «народу» як панни. Коли прийшов *prima aprilis*, я дістав кілька десять листів, писаних жіночою рукою, в яких одні дякували мені особливо за новелю «Моя мила», другі казали, що люблять мене. Але що поміж таким великим числом панночок було за богато гарних і мудрих, то я не міг рішити ся, котру з них вибрати собі і досі жию кавалером.

На другі новель видав я 250 зр. т. є. весь свій заощаджений масток, який відложив я собі на чорну годину. Вже-вже почав я був економічно жити і складати гроші на старість, як прийшла мені отся охота, похвалити ся перед Русинами своїми новелями. Всі ті видавці, що попарили ся на Русинах, відраджували мені викидати дармо гроші; казали, що у нас не тільки ніхто не купує книжок, але й дарованих не читає; але я у своїм патріотизмі не міг уважати Русинів таким некультурним народом, щоби не розкупили тих 500 примірників моїх новель, які я видав. Я собі числив так: на півчетверта міліонів австрійських Русинів є письменників, що найменше 80.000 на стілько заможних Русинів, що їх стати на книжку; з тих 80.000 є що-найменше 8.000 таких, що

інтересують ся всім, що друковане; а поміж ними є певно 800 таких, що куплять мої новелі, А я видав свої новелі лише в 500 примірників, назначив на книжку ціну лише по 75 кр. і мав надію, що хоч яку сотку зароблю за то, що писав у поті чола. Чей мізерних сто зр. мені належало ся за мою працю — а вже про славу й не говорю.

П'ятьдесят примірників роздав я даром поміж знакомих. Віписав на них гучні присвяти і усміхався вдоволено, що можу людям роздавати такі дарунки, яких не дасть звичайний смертельник. Десять примірників розіслав я редакціям, котрі мене за то назвали многонадійним молодцем. Чесні редакції »Місяця«, »Чину« і »Руси« зачислили мене навіть до першорядних талантів. Почисливши переплатників тих часописій, я побачив з радостию, що реклама про мої новелі розійшла ся в 5000 примірників. А що у нас одну часопись читає щонайменьче п'ять осіб, то про мене довідалося 25.000 Русинів. Двайцять пять тисяч! А з тих лише 440 потребувало купити мої недорогі новелі.

Жду я місяць від того часу, як видав новелі, — не зголосує ся ніхто. Як добрий батько на свої діти, так я дивлюся на тих 440 книжок, що в порядку лежать собі на полицях моєї шафи. Що дня стираю з них порох та придивляюся, як чепурно виглядає мое видавництво. Титул зложений прекрасними орнаментацийними буквами, з котрих звисають китиці

квіток. Мое прізвище, видруковане скромними малими буквами, запхало ся в куток у самім низу, бо я не люблю виставляти себе. Папір прекрасний, сторони позазначувані елегантно в низу. Коректа, що трохи мене очий не позбавивила, вийшла прекрасна; за кожду похибку плачу 50 кр., коли хто найде. Словом виданє таке, що як би його ще оправити гарно, то може съміло лежати в сальоні на оріховім столі побіч домашніх альбомів і заслужених Русинів і кошика з бажаннями іменин та нового року.

Так чекаю я місяць, не зголошує ся ніхто по мої новелі, так прославлені часописями. Ов! гризе мене се! Думаю собі: треба дати на продаж до книгарні. Приходжу, кланяю ся, і так кажу: прийміть мої новелі в коміс, дам вам 25 процент робату, так як усі видавці.

Управитель книгарні скривив ся:

— Коли — каже — думаете, що ваші новелі купить хто в мене, то помиляєте ся. Др. Храмко який новеліст, а його новель таки не купують: Німці читають їх по німецьки, Поляки по польськи, Москалі по московськи, а Русини по руськи не хотять читати.

Але я не хотів тому вірити.

— Прийміть, кажу, до себе; все у вас хтось зголосить ся.

— Та мені вже й місця не стає на книжки, все лежить — випрошує ся управитель.

— Я богато не принесу; сто примірників, се богато місця не займе.

— Ну, нехай! принесіть!

Приніс я в книгарню власними руками сто примірників і з вірою в руську суспільність віддав у руки управителя книгарні.

Жду місяць. Не випадає якось авторови допитувати ся, чи розходяться його новелі, отже я й не навідувався в книгарню. По місяці приходжу:

— Якже там мої новелі?

— А що? як лежали так лежать. Ніхто і словом не допитувався.

Смутку-ж мій! А для кого-ж я їх написав?! Ну, нехай! Дорога до слави терниста... Бували таланти не такі, як я, а люди таки не хотіли їх довший час знати. Якось то вже буде...

Порадив мені один товариш, зібрати адреси що найлучших патріотів, таких, що при своїм патріотизмі мають ще й гроші, і розіслати новелі на їх адреси. Послухав я, зібрав адреси 150 що найлучших і найголосніших патріотів і розіслав їм свої новелі. Казали мені: «Люди купували би, але їм треба книжку в руки дати». Так я й зробив, дав 150 патріотам книжку в руки.

Жду місяць, патріоти мовчать. Жду другий місяць — нема »ні вітру ні хвилі«, патріоти не відсилають ані книжок ані грошей. Сто п'ятьдесят примірників; адже то 112 зл. і 50 кр. страти! Звідки-ж я приходжу такі дарунки робити зі своєї бідної кишень! На третій місяць відослав мені один патріот мої новелі; очевидно перечитав їх, бо були порозгинані, посмаровані, покапані съвічкою і подерти. Написав на

книжці: »Гарні новелі! Дякую вам, що прислали перечитати« — і відослав мені. Гарний патріот!... А 149 примірників так і пропало по нинішній день.

Сумував я з місяць після такої страти, а далі думаю собі: »Що впало, то пропало«. Поступив я собі непрактично; годі людям накидувати в такий спосіб книжки. Они-ж не просили. Вправді повинні були відослати книжки, хоч би на мій кошт, але коли не відослали, то може хоч прочитають їх; і з того вже для мене хосен«.

Стрічаю я знакомого, що знає руську суспільність. Нарікаю я перед ним на свою біду: 250 зр. як у болото кинув і навіть певности не маю, чи читав хто мої новелі.

— Не дивуй ся, — каже він мені — що Русини не купують книжок. Наші книгарні не мають кольпортерів, а без кольпортажі нема нічого. Тепер надходять фериї, весілля, празники. Найди собі метких знакомих, що виїздять на село, дай їм книжки; вони розпродадуть.

Думка знаменита! Справді так треба зробити. Повинаховив я собі знакомих і дав їм на розпродаж сто примірників. Тим, що не мали охоти приняти ся продавати, обіцяв я по 25 кр. від примірника робату. Поїхали мої повелі зі знакомими на села.

Жду два місяці. Знакомі вертають ся у столицю. Стрічаю одного.

— Не гнівай ся, — каже, — що не дам тобі зараз гроший за новелі, бо не маю при собі.

— Отже ти продав їх? — питаю ся з радостию.

— Продав, але, знаєш: гроші минули ся. Я тобі їх зверну колись...

Стрічаю другого знакомого: я мовчу про новелї, соромно якось самому про се питати ся. Але він сам починає:

— Ти певно будеш на мене гнівати ся за ті новелї. Неприємно якось продавати, то я роздарував 15 примірників, а пять десь там у мене лежить. Ти чей не гніваєш ся за се на мене?

— Алеж ві! борони Боже!...

Стрічаю третього знакомого. Він сам починає розмову про мої новелї.

— Дуже гарні твої новелї. Я читав їх у родині і вони дуже сподобали ся; сестра аж пла-кала над оповіданем »Моя мила«.

— А продав ти хоч кілька примірників?

— Ні! Я віз їх тобі назад та — не гнівай ся! — забув у коршмі в Недопитові і опамятив ся аж на зелізницї, що їх там лишив... Годі було вертати ся, бо поїзд від'їздив...

— То може би ще туди написати, шкода двайцятьох примірників.

Написали ми письмо до властителя коршми; прийшла відповідь, що в його коршмі ніяких книжок ніхто ніколи не бачив. Ну, певно...

Пішов я до четвертого знакомого в гості. Балакаємо з годину, — не згадує ні словом про мої новелї. Прикро мені самому допитувати ся; ходжу по комнатах, аж дивлю ся: лежить купка

Наші знакомі.

книжок, обвиніних папером на підлозі. Я схиляю ся: мої новелі! Та які-ж вони нещастні, немов тиждень лежали у воді, а потім тиждень у болоті, замаргані, заболочені, спліснілі.

— Що їм стало ся? — питую ся з жалем.

— Замокли в дорозі, як я їхав на фериї. Можеш собі їх забрати...

Забрав я двайцять примірників і приніс зі смутком до дому. Розгортая, придивляю ся, — ніхто не схоче їх і за дармо; зовсім знівечені.

Інші мої кольпортери, здається, новелі попродали, але гроший за них я до нині не бачив... Що-ж робити?... Пропало! скажити не буду знакомих; самі порядні люди...

Осталося мені ще 90 примірників новель дома. В книгарні не купив ніхто ані одного примірника. Забрав я книжки звідтам і лишив тільки 10 примірників, у надії, що таки хтось зголоситься ся. Сто вісімдесять примірників пов'язав шнурами і виніс у пивницю, бо заваджали мені в хаті.

Моя надія на гроші і на славу щезла і я вже зовсім не заглядав до сих новель. Нехай їх миши з'їдять, я вже більше писати не буду! Русини, нарід некультурний, для них видавай єгипетські сонники і небесні листи, а не новелі! Вони так розуміють ся на красних штуках, як я на єгипетських гієрогліфах. Шкода часутратити... Досада мене взяла, — не дивота!

Пів року не заглядав я до пивниці, став дуже примірним робітником у своїй капцелярії,

ходив собі що вечера на пиво і все, що заощадив, обертає на гулянки. Не варто глядати вдоволеня в якихсь ідеальних змаганях; жите змарнуєш, а Русинів не поправиш. Така вже нація... Красше переживати день за днем, так як вони се роблять, красше не ставити собі великих цілій перед очі... Сього року в літі за чимсь то заглянув я у пивницю. Приходжу зі сувічкою тай розглядаю ся. Лежать мої бідні новелі так смирино у кутику, не ворохнуть ся, такі тихі! Ні сонечко на них не гляне, ні чоловік до них не навідає ся, хиба може миши. Та ні! і миши їх не рушили, бо мабуть папір був не смачний. Так мені жаль стало моїх бідних новель, що я трохи не заплакав. Боже мій! думаю собі! і будь ту у Русинів літератором! Та красше камінє товчи, як для Русинів писати...

Розгорнув я купу книжок, чую носом: стухли мої новелі; цвілю від них заносить. Треба, думаю собі, їх пересушити. Повиносив я їх з пивниці на світ божий і рішив ся порозкладати на сонці.

А в тім домі, де я мешкав, був великий город, дуже вигідний до пересушування книжок. Там на сухім місці розложив я против сонця свої новелі, замкнув фіртку огорода, і безпечний, що ніхто не зайде, пішов у хату.

За годину вийшов я подивити ся. Справді нікого з людей не зацікавили мої книжки, але п'ять собак старої панни, що жила в тім самім домі, де я, мали з моїх новель велику потіху. Крізь штахети залізли в город і гарцювали собі

*

по моїх новелях, аж любо. Один пес держав том новель у зубах; другий, якийсь штукар, обернувшись до гори ногами підкидав книжку у повітре, третій і четвертий дерлися о мої новелі, розуміє ся, зубами, а п'ятий грівся на книжках до сонця.

Aх! собаки прокляті! Чи то я для вас написав »Мою милу»?! Підходжу я нишком до них, а вони так тішаться моїми новелями, що аж мені волосє дуба стає! Як прискачу, як стану метати в собак моїми новелями, летить книжка за книжкою, як бомба, собаки скавулять, кривають, ховають ся, але я не питаю: мечу і мечу, поки прогнав собак аж на улицю... Тоді аж утихомирився.

Так то собаки і тішилися моїми новелями і плакали з їх причини, а ні один з Русинів над моєю літературською долею ані не скриявся... Нехай їх Бог милує, коли у них таке тверде серце.

1895.

Виклад про крамниці.

(Після стенографічних записок).

Після дневного порядку голова збору уділяє голос справоздавцеви від крамниць, котрий починає:

Дорогі мому серцю меньші брати! Коли Бог створив Адама і Еву в епоці ділювіальній, то дав їм усі продукти, яких они потребували; они мали кавяр і устриці, перець, цибулю і сіль і цинамон і бібки, отже крамниці не потребували... (*Загальне зітхане*). Але капіталістична продукція захопила небавом усі жерела доходу і економічний побит селян погіршився; вийшло таке, що пани солию і вівці годували, а селяни не мали чим і своєї страви посолити, через що іменно повстали всі ті єгипетскі язви, о котрих говорить ся в біблії. Уже цар Соломон казав: «Коли би я не був царем, то хотів би бути крамарем» (*Голос*: Не дармо Соломон! Як би не був царем... гм!...), а наш премудрий князь Мономах, що мав за жінку съяту Ольгу, писав у своїх мудрих поученіях синови: «Сину мій дорогий! Мав би ти колись бути редактором на Руси, то волиш бути крамарем». (*Голос*: Та що

редактор?! От сяде та пише, або корбу від машини крутить!). З того бачите, дорогі братя селяни, що крамарство вже давно високо у нас цінили. І не диво, бо борба о життє витворює ривалізацію, в котрій беруть участь ріжні елементи і індівідуа, котрих моральна вартість сягає нераз низше ніжо пересічного гуманного чоловіка, через що та борба спроваджує руїну селян і дає домінуюче становище капіталістам, тим п'явкам людськості, що ссуть кров мов вампирі на американських преріях, котрі суть знані як найбільші п'явки людськості (*Голос селянина: Файно говорити!*).

Хотів би я вам, дорогі мому серцю брати, пояснити докладно значінє крамниць, бо економічний добробит то ґрунт, а все решта дурніця. (*Голос:* Так есть! Грунт насамперед!) Щоби се осягнути, то потрібно би роз'яснити вам значінє крамниць після сих точок: 1. Крамниці а всесвітна істория. 2. Крамниці а істория Руси. 3. Крамниці а австрійска Русь. 4. Крамниця а мудрий Мошко. 5. Крамниця а дурний Іван. 6. Вплив крамниці на побожність і моральність народу і т. д. (*Голоси:* Ой-ой-ой! та аж тілько?). Не дивуйтесь панове братя, що «аж тілько», бо що ви знаєте? Ви не доросли до того, щоби розуміти слова інтелігентного чоловіка, відносини крамниць до історії цілого світу і Руси та відносини світу і Руси до крамниць. Правда, що ви до того не доросли? (*Голоси:* Та де нам до того?! Звичайно! ми не пани!). Ну, але щоби не забирати вам дорогого часу, то я о тім на-

пишу окрему книжечку для »Просвіти«, а вам тепер скажу коротко одно: Давнійше дух купецький і крамарський жив у душах руських; наші купці їздили до Греції, їздили до Швеції а видали їх і у Франції. Славні були купці, ходили в соболях, а пили мід і вино. Чому ж ви тепер не купці, не крамарюсте, так як ваші батьки? Чому ви соромите ся торгувати покладками, телятами і т. п. (*Голоси селян*: Або ми жиди?! Торгуй ти сам покладками, коли в тебе жидівська голова! Ми люди! не подоба нам!) Чому ж вам не подоба запимати ся крамарством та торговлею? (*Голоси*: То жидівська річ, не християнська! Також щось!... Так нас паплюжити!).

Отже бачите, що культура і цивілізація не осінила ще вас своїм святим сяєвом, а величава ідея самопомочи не запала в вашу душу і не піднесла ще єї у сферу висшого розуміння життя. (*Голоси*: Славно!)... О темні люди! і у вас то »славно«? Власть тьми зловила вас у свою сітку, а вампир темноти виссав у вас весь розум. (*Голос*: Опир?! Пек тобі!).

(*Голова збору* взиває бесідника, щоби держав ся річи і говорив про крамниці).

All right! Якже мені вас жаль, панове братя! Ви наша надія і підpora! Корабель наш народний пливе по бурливім морю; страшні філії бують об него, вивертають його, заносять на мілину; а ви стоїте безпомічні на березі та придавляєте ся. На корабли везе ся саме добро для вас, а ви не можете з него користати. Як

би то добре було, як би ви на духових водних вельоціпдах могли приїхати до корабля, витягти його з мілини і причалити до берега! У тьмі погибаєте, голодні та босі, діти ваші мрутуть брат повстає на брата, син на батька... (*Селяни плачуть*). Схаменіть ся, будьте люди, бо лихо вам буде! *Suae quisque fortunae faber!* (*Голос селянина*: Таки так!). Кождий мусить дбати про себе, інакше пропав!)

Кажуть про вас, дорогі мому серцю брати, що ви невдячні і неретельні; взяти гроші знаєте, а віддати і не мислите (*Голос*: Также так!). Ні, мої братя, не тому не віддаєте ви гроший, щоби не хотіли, тілько тому, що не маєте! А чому не маєте? Бо жиди забирають. А чому жиди ваші гроші забирають? (*Голос*: Бо на то жиди!) Чому ж ви жидам більше вірите, як нам, вашим старшим братам? (*Павза. Селяни мовчать*). Чи для того, що жиди з вас шкіру деруть? Цілі села походили на біду через лихву і піяньство, славні господарі стали жебраками, а прийде ся їм порадити ся що робити, — ідуть до жида, свого ката. Чому ж ви не слухаєте тих рад, не читаєте тих книжок, що ми вам подаємо? (*Голоси*: Ви пани, нам не пара! живіте з нами, то послухаємо, а так що? От!...).

Голова збору звертає в друге увагу бесідника, щоби говорив про крамниці).

А се-ж до чого я говорю, як не до крамниць?! Іде о впоєнні в людей ідеалу самопомочи! Помагайте собі, братя, самі; тоді й ми вам поможемо! (*Голос*: Не велика штука!). Штука є,

то що значив би темний народ без нас, без інбелігенції? Був би як кисле молоко без сметани... Ми ваші учителі, ми вам хочемо добра!

Але коли вже мушу говорити про самі крамниці, то треба зачинати. Ціль крамниці велика! Не в тім її вага, що подає консументам сіль та перець, але в тім, що може і повинна подавати селянам і кавяр і устриці і сарделькове масло, аби й селяне знали, який у тім смак, бо то здобутки культури, з котрими й ви повинні познакомити ся. Що ви єсъте? Борщ, хамулу, чер, горох, біб, фасолю, голоюшку, капусту, кашу, киселицю, кулешу, квас, лемішку, мамалигу, начинку, поливку, саламаху, стиранку, смук, сумішку, жур — самі страви неестетичні, шкідливі, замулюючі жолудок. (*Голос: Ади! як знає!*). Що ви пете? Просту сивуху, а що то таке коняк, то ви певно не знаєте! (*Голос: Знаємо! коник, то малий кінь, так щось як лошак*). Отже бачите, що не знаєте. Коняк — то така смачна горівка з вина, дуже здорова! Її повинні ви пити, а не сивуху!

Отже на мою думку ідеальна сільська крамниця повинна мати у себе для людей коняк, вино, кавяр, сардинки, шпроти, завивані оселедці в оливі, не такі прості, як ви єсъте, що від них на милю дух іде, дальнє перфуми, цитрини, помаранчі, помадки, чеколядки, — бодай для дітей треба нераз купити — а кромі того ще сіль, цукор, перець, всі ті звичайні домашні приправи.

(Голова звертає тихцем увагу бесідника на те, що має говорити про крамниці на селі, а не в столиці. Тимчасом кождий селянин прикладає вказуючий палець до чола і мислить. Бесідник сперечався з головою і каже до него):

Я вже знаю! ви мені не кажіть і не перебивайте мене! (До селян): Селяне! дорогі мої братя! Чи ви не хотіли би пити коняк і йти кавяр?! (*Богато голосів: »Лише дайте! Чому ні?«*). — Бесідник звертається до голови і каже триумфально): А бачите?! (До селян дальше): Благородні напої впливають ублагороднюючи на чоловіка; ніколи не пошкодить так добра мадейра, як сивуха з вапном і тютюном. (*Голоси: Таки так!*). Отож щоби довго не розводити ся, бо я о тім напишу окрему книжечку для *»Проськіти«*, дуже поучаючи — скажу коротко: Крамниця повинна впливати ублагороднюючи, а не деморалізуючи на селян, повинна їм відкривати нові горизонти, незнаний світ, повинна зближати їх до цивілізованих людей, познакомлювати їх зі здобутками культури і цивілізації!

(Голос: А догоТЬ там буде?)

О, люди, темна, непросвічена маса, блукаюча в єгипетській тьмі кромішній, не то без електричного світла з рефлекторами, але й без каганця! І ви ще не знаєте, що догоТЬ то документ некультурності, який ви носите на своїх чоботах і забиваєте памороки всім тим, що хотіли-б до вас приступити. (Бесідник нюхає воздух). Коли не помиляю ся, — ні! я таки певний, що й тут ви прийшли з дігтем на чобо-

тах, тут до столиці краю, де кождий на вас дивить ся як на Сінг'алезів.

(Селяни съміють ся. Бесідник змішаний. Павза. Один старий селянин піднимає ся помалу, кланяє ся на всі сторони; его тягнуть сідати, але він боронить ся: »Я тілько одно слово... Прошу ласки вашої, ясні панове тай ви чесні газди; все то файнно і красно, що нам той пан каже, та от може би він нам сказав: звідки гроші взяти на ті витребеньки?« В салі настає великий крик, оклики »славно«, візваня до бесідника, щоби сказав, звідки гроші взяти. Бесідник нетерпеливить ся і питає):

А хиба ви гроший не маєте! (*Голоси*: Та звідки?!) Ну, в такім випадку, без устриць можете обійти ся, бо й я їх сам не люблю, але на коняка то таки вас стаги? (*Голос*: І того нема чим годувати! Паши нема!). Щож я вам пораджу? (Бесідник мислить хвилю): Чекайте! маю пречудну ідею! Та ні, я вам сьогодня її не скажу, а напишу все в книжечці »Просьвіти« А що-що, дорогі мому серцю брати, не забуйте моїх слів, що я перше сказав: Слухайте ви інтелігенції, не дивіть ся на те, що ми в сурдутах, бо під тими сурдутами бє для вас щире серце, що бажає вам добра і гаразду. Чи не правду я кажу? (*Інтелігенция*: Святу правду!). Коли ми так спільними силами возьмемо ся до роботи, видвигнемо наш корабель народний з мілини, розпустимо вітрила і цілою силою пари причалимо до зеленого берега рідної нашої земліньки України-Руси! *Dixi!*...

(Бесідник сходить із естради. Оклики: славно! многая лїта! Голова збору обтирає спітніле чоло)...

1895.

Казка для дітей.

Колись то приходить до мене мій свояк, девятирічний хлопчика, на пораду. Приносить із собою діточку газету і питає ся:

— Вуйку, чи то може бути, щоби кишка з'їла свиню, а свиня їхала на кони?

— Деж ти таке вичитав?! — дивую ся.

— А от у сїй казцї.

Дивлю ся; казка зве ся: »Кішка і Пацюк.«
Ага! розумію... Ну, прочитай перше, синку.

Кішка і Пацюк.

У глупу ніч сиділа Кішка на припоні

І ні чичирк!

Пильнус мняса — аж тут зирк:

Пацюк являється ся на коні(?)

Стас на лаби й каже: »Кішко краса!

Навіть ти пантруєш цього мняса?

Не красче-б нам з тобою поділити ся,

Ніж так дарма на ласощі дивити ся?«

А Кішка так йому одмовила: »Паючеч!

І я не їм, хоч як дивити ся болюче!

І я шматок покоштувала-б ласо,

Та годі-ж бо, бо не мое це мясо.«

І пика в Пацюка із стиду счервоніла,
А Кішка хап його — і з'їла.

A. Солоденький.

— Добре, сину, — кажу. — А тепер розповідь мені своїми словами, що сказано у сїй казцї. Можеш дивити ся у книжку.

Хлопчина подумав хвилину і почав:

— Була дурна ніч, а кишка сиділа привязана і не цвірінькала. Пильнувала мяса, аж ту приїздить свиня на кони і каже: »З'їджмо трохи, по що ми будемо дивити ся?« А кишка каже до свинї: »Не можна, і я би з'їла шматку, але мясо не моє.« І свиня потім завстидала ся, а кишка хап її і з'їла... Вуйку, я того не розумію. Чи кишка цвірінькає і шматку єсть! Адже кишка писка не має.

— Та не має, — кажу.

— Ну, а свиню на кони ти бачив коли?

— Ні.

— Щож воно значить? — дивує ся хлопець.

— То значить, сину, так: За границею нашого краю, в Росії, живуть такі самі Русини, як ми, тільки вони дещо називають інакше, як ми. Кішка значить у них: кіт, пацюк — щур, кон — сцена, як у театрі (по що поет всадив сюди кон?), шматок значить кусень чого-небудь, а не кусень полотна, глупий значить темний. Отже, по нашему оповівши сю казку, вийшло бі та-ке: Кіт сидів собі тихо і пильнував мяса, а щур прийшов і хотів намовити кота, з'їсти разом се-

мясо. Кіт не пристав на се, тілько поганьбив щура і з'їв його. Розумієш?

— Розумію. Але чого-ж вони так для нас пишуть?

— Гм... подумав я собі. — Про те варто би справдї спитати ся редактора газетки і самого поета Солоденького, чого вони друкують такі казки для галицьких дітей. Адже діти мусять робити цілу «препарацію» до такої казки, зі словарем у руках! Ну, а що вийшло би, як би так знову галицький поет написав українським дітям казку про те, що з пацюків роблять у Галичині кишки, що кишку з начинкою їдять, а пацюків таки нарочно годують у хлівах на те, щоб їх потім також з'їсти? Що погадала би собі українська дитина про нас? Що ми їмо котів і шурів!...

О, рідна мово!

1894.

Зуб мамута.

Мій приятель дарував мені на памятку че-рений зуб мамута, найдений десь там над Прутом.

— Ним добре притискати папери — сказав мені притім — і, головна річ, оригінально: замісць звичайних мармурових притискачів — зуб, що має з десять тисяч літ або і більше. Се навіть не без поезії...

Приятель говорив правду: зуб мамута здався і мені поетичним і я зараз мармуровий притискач сховав у шафу, а зубом притиснув свої рукописи, що лежали в мене на столі. Новий притискач був не такий вигідний, як справді незвичайний і не без такого чару, який має всяка старина.

Цілий тиждень я дивився на нього по кілька годин на день. Правда, я мав притім і іншу роботу: сидів за столом і писав, але що простягнув руку, аби замачати перо в чернилі, то все кинув оком на свій новий притискач. Нераз і покидав я на хвилю писати, брав зуб у руки і оглядав його. Чудний зуб — нічого казати... І коли я так на нього дивився, мені

приходили ріжні-ріжні думки, звичайно сумовиті.

В неділю я не мав пильної роботи, ходив по лісі, лежав у холодку та думки думав, і вернувся вечером до дому в настрою, дуже пригожим до писання поезій. Сів за столом і кинув оком на зуб мамута. Він лежав на моїй недокінченій повісті. Дивне порівнання прийшло мені нараз до голови: зуб мамута лежав на моїй повісті, мов памятник на могилі мерця. Се порівнання мене дуже зворушило, за ним явилися цілі стада думок і я зараз почав писати поезію:

Лежить у мене на столі
в печері найдений в землі
над водами старого Прута
великий зуб мамута.

Лежав він десять тисяч літ —
змінила ся земля і сьвіт,
а він остав ся цілий, нестлілий,
пожовклий, скаменілий.

Тепер він починки дрібні,
мої рукописи марні,
притис, приляг, як велит сильний,
мов камінь намогильний. — —

Ні, се не буде добре! Тут форма поезії не відповідна до думки, яку хочу виповісти, до могильного настрою, який хочу навіяти на читача. Може так буде лучше, більше поважно і такимчино:

Наші знакомі.

Зуб мамута,
стара пожовкла памятка забута,
дрібний атом в історії всесвітній,
лежить на моїй праці довголітній.

Зуб мамута,
добытий з ріноків старого Прута,
дрібний останок велита старого,
німий апостол суму гробового.

він могучий:
у допотопний темний бір дрімучий
на силу тягне думку сумовиту —
в минувшість темну, мріями сповиту...

Ах, Боже! і так не добре! Що з того, що сей «апостол суму гробового», котрим мамут гриз траву, на силу тягне мою думку в минувшість, мріями сповиту, коли я ніяк не можу врати його у поетичну форму? Зуб мамута... стара памятка по старім веліті... зі старого Прута... дрібний атом і німий апостол... з темного бору, з темної минувшості... ов, за богато поезії! Проклятий зуб мамута! Я знаю, що хотів би виповісти у своїй поезії; у першій формі мені досить гладко складася моя думка:

І зуба зуб часу не згриз
мої папери він притис,
приляг думки мої і труди,
мов та могила груди.

Що дня на нього я дивлюсь,
у вічність глянути боюсь:
там всяка твар забута,
як зуб важкий мамута...

Була би се думка незла і, о скілько до неї дав причину черепний зуб мамута, досить оригінальна, але форма! форма! Що забіс лисий, що для нього форми найти не можу! Такої форми і таких слів, щоби читача за одним замахом перекинули за десять тисяч літ у минувшість, мріями сповиту! Правда, що форма мала, а зуб завбільшки як селянський чобіт і важить зо два кільограми, але і на нього повинна найти ся поетична форма!

Гей думко, в давній час полинь,
у темних пралісах смочинь,
у допотопних диких борах,
в карпатських тихих горах!...

Думка послухала мене і полинула в давній час у допотопний дикий бір; я сів собі в тіни папороті і з доброго дива кличу людий у пралісі. Людий не видко, за те:

Луна гуде ярами гір,
аж тут страшний понурий звір
ступає тяжко, мов стовпами,
грубезними як пені ногами.

Мамут, мамут: старий мамут
зайшов над синій, бистрий Прут,
блукав тут сотню літ і згинув,
на знак мені свій зуб покинув...

Ні, і в пралісі не можу найти поетичної форми, відповідної до зуба мамута. І зуба зуб не згриз... і так далі. На знак мені свій зуб покинув... гм! врешті може бути. »Звізда« зараз

*

видрукувала би сю поезию, але я вже тепер не стою на тім, аби чим борше друкувати все, що напишу; мені треба, щоб я сам був із цього зуба вдоволений. Десять тисяч літ — тисяч літ менше, або більше тут справи не зміняє, — так стілько літ пролежати в землі і вкінці опинити ся на моїй недокінченій повісті, зворушити мене і за те все не діжджати ся порядної поезії, поезії, що була би повна сумних, цминтарних думок, саме таких, як я їх серцем відчуваю, — се просто для мене тяжка мука... Сі думки у відповідній формі я мушу виповісти! Адже се факт і то сумний факт, що моя повість, притиснена зубом мамута, нехай я її й докінчу, десять тисяч літ жити не буде, і п'ять тисяч літ жити не буде, і тисяч ні, і сто літ — може ні... Ні вже, дальше не спущу, сто літ мусить моя повість прожити, інакше не варто її й кінчити. А сей проклятий зуб лежить на ній, »мов камінь намогильний«. Повість іще і сьвіта божого не побачила і я вже поклав на ній, мов памятник, зуб мамута, котрого і зуб часу не згриз за десять тисяч літ. Мамут лишив знак по собі, а я не лишу. Боже, що за мука! Чи варто жити на божім сьвіті, коли по чоловіці і такий порядний зуб не остане ся, як по тім мамуті? По що вганяти за хлібом, по що журити ся, по що мучити ся для ідей, по що так тяжко терпіти, коли з того всього не остане ся і сліду? Перекопуючи за кілька десять літ цминтарі, найдуть твій череп, в котрім крило ся стілько надій і журби, кинуть його в кут

і приложать домовиною з новим покійником.
А за твою працю ніхто тебе тоді вже й не згадає, настануть нові люди з новими думками, куди їм тебе згадувати!

Так мене загриз сей зуб мамута, що трохи на плач мені не зібрало ся. Все, що скочу думкою у допотопний бір дрімучий, то звідтам лечу двайцять тисяч літ наперед, шукаю себе по дорозі і зовсім не можу віднайти.

Зуб мамута...

Гей, праце, радости житя затрута!
Безслідно в безконечності ти згинеш,
ніякого сліду на памятку не кинеш...

Боже! якже се сухо сказано, занадто просто, а я би хотів виповісти свій сум, так, щоб він темною хмарою наляг на двайцять тисяч літ, бо се такий великий біль душі, такий глибокий! Якже се так може бути: у другій половині 19-го століття родив ся, а в першій половині 20-го століття уже й пішов спати у землю... Довше певно не прожиу...

Я взяв зуб мамута в руки і став його оглядати, вже не знаю, котрий раз. Не замітив на нім нічого нового — він певно виглядав так само і тому тисячу літ, як тепер у моїх руках — але не минула ще хвиля, як мені прийшла дуже холодна думка, і я відразу, як сидів у тіни величезної папороті в допотопнім пралісі, так у ту мить опинив ся у своїй хаті, і на свій стіл і на лямпу і на застиглий чай у склянці і на попіл у попільнничці подивив ся зовсім не

тими самими очима, що перше... Адже коли я і вся моя праця пропаде без сліду, то очевидно пропаде і ся поезия про зуб мамута, що я даремно над нею мучу ся вже чотири години. Коли ж так, то по що мучити ся, радше піти спати: і так уже перша година по півночи...

Думка була найрозумнійша із усіх тих, що я продумав за чотири години, і здалекої дороги з допотопного праліса я вернувся просто до свого ліжка. Ще пів години бачив я перед собою страшенногомамута, як він ішов пралісом, ломив дерева, ступав так, аж земля дудніла, аж поки заснув я, утомлений тяжкими думками.

Кілька днів я мав спокій і про мамутів зуб не думав... не хотів думати. Я бачив єго що дня, але дивив ся на нього, як на ворога: мав жаль до нього, бо розчарував ся в його поетичній силі. Адже я писав поезії про цілу землю — і вийшли добрі, писав про всі зівізди на небі — і були також не злі (про місяць написав навіть чудову поезию: за неї від десятьох паннів дістав листи з подякою), — а тут із простим зубом, хоч і мамутовим, але все ж зубом, не міг дати собі ради! Видко, що або сей зуб не заслугує ніякої поезії, або я не можу... е, ні! я мушу щось про нього написати, як не поезию, то новелю, як не новелю, то повість, як не повість, то фільзофічну поему — що не будь, аби лише виповісти сю думку, що мені засіла в голові. Але до сего вже зараз не возьму ся... колись іншим разом... при добрім настрою.

Сей добрий настрій прийшов на мене не-бавом, до тижня, і я рішив ся писати новелю про зуб мамута. Але що до новелі за мало самих цмінтарних думок, а треба вже хоч трохи живого життя, то я заглянув до зоольгії, прочитав собі житець мамута і придивився добре його портретови, бо я сего добродія знатав дуже недокладно і боявся написати які небилиці. В новелі гадав я виповісти ту саму думку, якої не міг одягнути в поетичну одежду, гадав зручно затягнути читача в допотопний праліс, там його поводити трохи по ярах та по дебрах, а потім гладко завернути в нинішні часи і неясно-таємничо сказати йому се, що правда, він знатав і сам, що «всяческая суєта». От я й почав знов писати про зуб, та вже тепер прозою. Сей зуб мав відограти дуже фільозофічну роль в житю двоїх молодих закоханих людей, хлопця і дівчини. Вони вже мали побрати ся, як нараз дістали сей зуб в подарунку. Дістали його і як почали гадати про вічність та безконечність, то й відійшла їм охота йти до слюбу. Не варто й побирати ся! — сказали і розійшлися. Він забрав нещасний зуб із собою, держав його кілька літ у себе, але що все дуже сумував, коли тільки на нього глянув, то вкінці викинув його — і так зуб мамута дістав ся мені...

Тема просто чудесна! Цмінтарних думок можна тут виповісти, скілько схочеш, не так, як у малій поезії! Треба писати!

Зуб мамута.

(Новеля).

»Лежить він у мене вже з десять літ на столі, съвідок давніх-предавніх допотопних часів, величезний, тяжкий, темноховтий зуб мамута. Я уживаю його до притискання своїх паперів. Селянин найшов його припадком на березі синього Прута і дарував на нещастє моїм знакомим, уважаючи його якимсь дивним каменем, подібним лише до великого, невиданого, черенного зуба. Не знав, сердешний, якого лиха накоїть своїм подарунком...

Дивний справді сей скаменілій зуб, з жилами склистої емалії від споду; таких великих черенних зубів тепер уже не має ніякий звір на съвіті. В уяві своїй я бачу допотопного мамута з довжезними, каблуковатими клами і з двома рядами таких зубів, як отсей один у мене на столі — правдиві великі жорна до розтирання поживи; бачу, як він блукає по безлюдній пушці над Прутом — самітний, понурий, тяжкий велит...

Змарнілі потомки сего колишнього велита, слоні, покинули північні, холодні сторони і поселили ся близше осередка землі, щоби вигрівати ся до жаркого сонця. А по їх предках в далеких північних печерах та безоднях, сховані перед людськими очима, забуті і людською памятю, лиш де-не-де ще спочивають кости, тривкі жовті кости, котрих і всемогучий зуб часу не вспів згризти, котрих земля не стерла на порох і не сполокала вода.

Коли я дивлюся на сей зуб мамута, бістрою думкою лину у допотопний старезний праліс, кладуся в тіни векикої папороті на зелений, пухкий мох, мов на перину, і вдививши очима в небо, з сумнівом в душі, з забобонним страхом, шукаю даремно відгадки загадки життя...

Скрізь пусто...

Аж ось ліс тріщить, дерева подаються на бік і ломляться: поважним, тяжким ходом іде против мене кривозубий мамут... Який же я малий і слабий супротив сего велита-силача! Я, *homo sapiens*, пан усього сотворіння! — —

Тут я на хвилю перестав писати і прочитав собі те, що написав, від початку. Нічого, початок не злий, поважний. Тепер би лише зручило перейти від сего мамута до моїх видуманих знакомих, до їх пригоди такої великої, як сам мамут.

Я сперся о поруче крісла і вдивився на стіну. Стіна мовчала і я мовчав — і в хаті було так таємно-тихо... На дворі гудів вітер і завивав так сумно... Сонце сковалося за хмари...

Передо мною зуб мамута, лежить на моїх творах і також мовчить. Який він поважний! Кілько думок криє в собі...

Сиджу і думаю, аж чую: нараз не сей мамутів зуб на столі, а мій власний, маленький зуб мудrosti у кутку моого рота починає обvizватися, скимить так легенько, немов проситься, щоб я єму позволив сильнійше відзвівати ся. Натуроу сего моого зуба мудrosti я знав уже від

року дуже добре; хоч він і був собі зубом мудrosti, але вже кільканайцять разів устроїв менi такi дурницi, що я його нiяк не мiг назвати мудрим. Я йому догоджував, як малень-кiй дитинi: що дня змивав його пахучим каль-донтом i дiрку в нiм затикав бiленькою ватою, аби його делiкатна душа не стикала ся з уся-кими сiвiтовими квасами; а вiн протe нераз такi заводив жалi, що менi не давав нiї iсти, нi робити, нi спати. Отсiм легеньким скимiнем, яким тепер вiдозвав ся, вiн звичайно давав знак, що загадує виявити цiлу свою скорботну душу, але не вiдразу, помалу. Сe була така його увертура до драматичної опери, в котрiй я грав найважнiйшу роль, висъпiуючи нераз найтяжшi мольовi i сентиментальнi пiснi з правдивим артизмом, з глубини душi.

Слухаю тепер: справдi мiй власний черен-ний зуб скимить. Певно бажає собi нової порцiї вати, вже третiй раз сегондня. Добре, дам тобi, мiй любий! Лише сиди тихо, бо я тепер маю клопiт з иным зубом, не таким, як ти, маленьким. Зарядив я свiй зуб сiвiжою ватою i слухаю: ба, вiн уже не скимить, а сiпає поря-дно. Ще хвиля: як заболить! менi аж сiвiчки в очах стали. Раз i другий i третiй... Ов, бiда! Мабуть холодно бiдакови? Я обвинув голову теплою хусткою, сiв за стiл, замочив перо i бе-ру ся писати дальше про зub мамутa.

Що лиш написав кiлька слiв: «I от сей ве-лит-силач, мамутiв зуб...» нараз мiй зub як за-болить знов, аж на мене поти вдарили. Я при-

кусив щоки і заскрготав зубами, — нічого: всі мої зуби скретали, а сей зуб мудrosti аж корінє рвав під собою з розпуки.

Нема ради, кладу ся, як стою, в ліжко, притулюю щоку до одної подушки, на голову кладу другу подушку і жду. Душно мені, але терплю, щоби тілько премудрий зуб утихомирити. Здається мені, що переконую сим свого мудрагеля, як я про нього дбаю, бо вже лише скимить і спас і тілько часом немов кине ся з болю. Скоро він на хвильку втихне, я давай дальше думати про зуб мамута. Так гарно почав новелю, в такім відповіднім настрою був пишучи, обнимав такі широкі і далекі горизонти, ставив загадку життя на десятьтисячлітній основі, — і саме в ту хвилю мій карлик зуб осьмілює ся виводити свої жалі і то перед лицем свого велита-товариша, з котрого могла би бути ціла літра таких зубів, як він. Се таке самолюбство, що просто обурює чоловіка...

Ах! немов у відповідь на таке лихословлення як заболить мене мій зуб! Я забув і зуб мамута і широкі горизонти і всю загадку життя. Зарив ся у подушки і ледви диш, трохи не вдущу ся.

Саме в ту хвилю увійшов до мене приятель, що дарував мені зуб мамута. Замкнув двері і станув, здивувавши ся, що я сплю з подушкою на голові. Але я ногами задригав і він по тім зміркував, що не сплю.

— Тобі що таке? — питав ся.

Я виставив ніс зпід подушки і з жалем

кажу: — Ах, дай мені спокій! болять мене два зуби, один мамутів, другий мій.

— Як? мамутів зуб тебе болить?

Отсе питанє приятеля навело на мене в ту мить таку думку, що я, аби її роздумати, не мав навіть часу ему відповісти — така була вона незвичайна.. І потішила мене ся думка так, що я скинув подушку з голови і з горячими щоками усів на ліжку, усьміхнений.

— Приятелю, — кажу — се-ж правдиве щастє, що я не маю таких зубів, як мамут, а то якби такий велит-зуб почав боліти, прийшло би чоловікови на голові ходити і по стінах драпати ся, а лікар від зубів мусів би цілу парову машину приставити до мене, щоби такого зуба витягти! І що би то був за біль, Боже!

Мій приятель зовсім не зрозумів моєї глибокої думки і дивив ся на мій щасливий усьміх здивовано.

— Котрий же властиво зуб тебе болить: зуб мамута, чи твій власний?

— Ах! мій власний зуб мудrosti, від котрого я звичайно дурнію!

— То чому его не вирвеш?

Справдї, чому-б його не вирвати? Рада була знаменита і головно дана в добру пору. Я зараз пішов до лікаря, сів на крісло, повторив собі раз і другий і третій: щастє моє, що не маю зуба, як мамут, сею думкою загіпнотизував себе і не счув ся, як мій зуб мудrosti покинув ряди своїх товаришів, мов несовісний де-

зертар. Не чув я й болю, коли лікар мені рвав його, утратив я зуб мудrosti, і мені аж в очах розвидніло ся.

Спокійний і вдоволений вернув я до дому. Сїв за стіл і дивлю ся знову на зуб мамута. Коло нього лежить почата новеля п. з. «Зуб мамута». Думав її даліше писати, але не почував себе вже в такім настрою, як потрібно, і початок новелї мені не сподобав ся. Тепер мав я до сего зуба ще більший жаль, як перше, бо не міг його упхати і в новелю, але заразом я й оправдував його: не він же винен, тілько я; за своїм зубом я забув про нього і змаловажив його. Так не годить ся... Треба буде написати про нього фантастичну поему з пралісами, смоками, іхтіозаврами і потопою сьвіта. Тут я його вstromлю... і вражінє буде чудове!

І знов дивлю ся я на зуб мамута, що лежить на моїх творах, як памятник на могилі, знов думаю про загадку житя, поки мене другий зуб мудrosti, мій власний, не заболить...

1898.

Народний Дім.

Доки Народний Дім не був Народним Домом, тілько домом лікаря д-ра Фушера, ніхто про нього не думав, і не займався ним, хиба сам Фушер і ц. к. уряд податковий. Тоді то сей дім прожив свої найкрасші літа.

Се був звичайний старосвітський партеровий дім, побитий ґонтами, зі сходами і широчезним ґанком до подвір'я, з ріжними коморами і закамарками на кури, качки, гуси і голуби, і з окремою стайнею на коні та возівнею на карити. Дім невеликий, але з однаковими вікнами, одностайною краскою на надвірних стінах, з цілім дахом, цілими коминами, одним словом: на зверх порядній. І в середині у довгім ряді комнат видко було не лише порядок, але і заможність — не даром же доктор Фушер лічив хорих із сорок літ.

До сего дому належав і огорod, до котрого входило ся з подвір'я. Невеликий огорod, але з него була і користь і приємність: тут росла і всяка добірна садовина і виноград і оріхи во-лоскі та ліскові, і синій боз і жасмін і квітки, а попід дерева мягким, зеленим килимом сте-

лив ся розкішний моріжок. До того була в огороді і крита кругольня з муреною альтаною в мавританськім стилі — на літо прекрасне місце для тихого спочинку, або забави. Гарно було тут і затишно і приємно. Тілько десять мінут ходу від ринку міста, а властитель дому міг жити мов на селі.

Але стало ся: прийшов час і Фушер помер. Його наслідники жили ще якийсь час у сїм дому і господарили так, що дім мусіли продати. Оттоді й лучили ся на нього незвичайні купці: кількох руських патріотів задумало купити його на власність народу. Дім коштував двайцять тисяч, а патріоти мали в руках тілько п'ять тисяч, зібраних за довгі літа патріотичної роботи. Вони сказали собі: »Купувати дім за готові гроші — невелика штука, а от штука купити його без грошей, або з п'ятьма тисячами в руках. Решту зложить нарід«. І вони купили сей дім, уживши при купні ріжних адвокатських способів, позичок, векслів і т. п. Купивши, назвали його Народним Домом, а місцева »Руська газета« привітала його великою вступною статисю, де між іншим було сказано: »Маємо вже тепер свою власну народну палату, свою кріпость для оборони руських душ, своє гніздо, де будуть виховувати ся молоді вірлята України, — маємо свій власний Народний Дім. Дім на три фронти до трох улиць; мури грубезні, можна на них ставити перший поверх. Тут буде саля на збори, концерти і балі; тут будуть товариства, казино, бурса, друкарня і т. п. Народний маєток

збільшив ся о Народний Дім. Відзываємо ся тепер до тебе, руський народе: складай гроші, аби дім сплатити, розширити, прикрасити і віддати тобі на службу«.

З того часу, як дім Фушера став Народним Домом і збільшив собою народний маєток, а Руська газета так прославила його, він якби відмінив ся, став славним у руськім народі і покрив ся немов якоюсь авреолею. Тепер уже всі знали, що се не який небудь дім, а народний дім з трома фронтами і з грубими мурами, що двигнуть не тілько дах, але ще й перший поверх. А відколи на його стінах блисла синя таблиця з золотим написом: »Народний Дім«, то люди з міста і з сіл нераз ставали перед ним і з поважанем вимовляли слова: «Ага! се Народний Дім. Ну... на палату або на кріпость він не похожий. Але добре й се!...

І так звичайний дім Фушера дочекав ся на старість великої слави. Треба признати, що ся слава спершу зовсім не змінила його зверхнього вигляду: він який був за часів Фушера, такий на погляд був і тепер, коли належав до руського народу. Будівничий казав, що дах »вітримає« ще кілька літ, ґанок треба поправити подекуди, бо спорохнавів, а мури — ті постоять ще й сотку літ. Лише в середині дім змінив ся дуже: замісць колишніх дорогих меблів стояли тут тепер прості столи, шафи та крісла, в потребі і ще простійші ослони, а близкучі колись помости втратили небавом свою ясність і затоптали їх патріотичні ноги інтелігенції, а ще

Більше селян. Але Народний Дім бачив тепер у своїх мурах самі патріотичні сцени: збори, наради, вечерки зі співами і танцями і т. п., а його головна саля засяніла небавом від портретів Шевченка, Федъковича і ріжних інших патріотів, що ріжними поглядами дивила ся із стін в сей, або той бік салі.

Так тягло ся зо два роки. Виділ Народного Дому не спішив ся з направками, які казав поробити будівничий, бо патріоти і так не могли дати собі ради з векселями, які попідписували і які треба було в пору сплачувати. Хоч «Руська газета» в кождім числі грубими буквами відзвівала ся до народу: »Складайте ся на Народний Дім! Не забувайте при жадній нагоді на Народний Дім!« — та нарід очевидно не відчував так дуже сильно потреби думати при кождій нагоді про Народний Дім, і встаючи і лягаючи, і ходячи і танцюючи, і їдячи і спочиваючи. Хоч се нікому іншому, тілько цілому народові дісталася така палата в руки, але нарід не дбав за неї навіть так, як дбав колись Фушер. Там десь котрийсь Русин прислав на Народний Дім одного золотого або і два і потім пильно шукав свого імені в часописи у »виказі впв. патріотів, що зложили складки на Народний Дім«, а коли не нашов, то питав ся в редакції, чи не пропали в кого його гроші, — але таких впв. патріотів було не богато, так що виділ, а радше тілько три виділові на гарних посадах і властителі камениць не мали просто вільної години з векселями. Інші виділові були, правда, щирі

Наші знакомі.

патріоти, але їх патріотичних підписів на векселях був би навіть ніхто й не приймив...

Народний Дім привик помалу до свого нового властителя, хоч і посумнів трохи зверха. Ще мешкали в нім крім товариств і чужі люди, котрі платили за мешкання і від часу до часу допоминали ся енергічно у виділу о порядок. Виділ не міг викрутити ся і латав то сходи то вікна то старі груби або підлоги. Але на третій рік ті добрі люди мусіли забрати ся, бо виділови Народного Дому прийшла до голови патріотична думка заложити в Народнім Домі буреу для учеників. Люди випровадили ся перед феріями і два мешкання, зложені з кількох квартир, лишили ся на час ферій порожні і замкнені. Патріоти в більшій частині виїхали також на фери — і в комнатах товариства часом не було і живої душі. З того часу і почала ся недоля Народного Дому.

Він почув нараз страшенну порожнечу у своїм нутрі, так як голодний чоловік. Темними ночами щось у нім скрипіло, шелестіло, бігало по підлогах, у коминах стогнало, — він сам не здав, що йому хибє. Подув сильніший вітер, крокви стогнуть, ґонти злітають на землю, від коминів відриваються дрова, і двері та вікна скриплять так жалібно, що ані заснути. А вже що йому найбільше не подобало ся, то миши, що бігали йому по животі і залазили чорт знає куди. Десять перше того мерзеного соторіння і не було видко, а тепер ось як лазять! Тай скілько того!

Народний Дім нераз прислухував ся вночі, що в нім діє ся, і мороз проходив по його мурах. Миши завели собі гнізда в бібліотеці Народного Дому. То, бувало, ніч настане, у всіх комнатах нема ані одного патріота, — мишам воля. Вони вибігають з бібліотеки, проходжують ся по читальні та по інших комнатах і сумують над своєю гіркою долею.

— Десять перше, — каже одна — хоч і треба було пильнувати ся, але можна було тут запопасті якусь їду: масло в комірці, муку, хліб... а тепер хоч гинь: самі книжки!

— Ох, правда, — нарікає друга миш — я от з'їла трохи поезій Панька Хванька тай так мене у животі ріже, що сама не знаю, що собі робити.

А третя миш на те: — Сестриці любечкі, а хиба-ж я не відхорувала тяженсько, з'ївши «Досліди над руською мовою» професора... як же він називає ся?... ну, пусте! Нехай його чорт побере!

— А мій тато таки вмер, покоштувавши габілітацийної розправи доктора Поклонського про ґенезу казки «Дід як вязку дров підвів, то під нею аж присів». Там таке понаписував про Індію, Византию, Бретонію і Ляпонію, куди ся казка ходила, що бідний тато мусів умерти на глою смертию. Кому смерть, а професорам по чотири тисячі пенсій за те...

— Ох, гіркий наш світ! — плакали всі миши хором.

*

А Народний Дім і сам не зінав, що думати: і мерзко було йому і жалко нещасних. Але не-бавом годі було йому журити ся мишами, бо йому самому буря вибила очі. На даху до фронту були від поду два круглі вікна, зовсім як очі. Одної ночі буря напосіла ся на ці вікна, термосила ними дві години і таки вибила. При-тім позривала цілі плати даху і позаносила Бог знає куди. Народний Дім став як сліпий. Пер-ше то у його очах на даху хоч сонце мерехті-ло, а тепер вони випали, як у чашки, тілько ями лишили ся. По бурі, тої самої ночі прий-шла довга злива і вода лила ся на під, а з по-ду крізь стелю у салю з портретами.

Шевченко у кожусі і в шапці саме тоді приглядав ся мишам, що танцювали мабуть коломийки по салі, коли чує, а йому вода за ковнір ллєть ся.

— Гей, Фед'ковичу, ратуй! Вода ллєть ся мені за ковнір. Здійми мене із стіни!

— Не можу, братчику солодесенький! І ме-не повісили тут, не знати за яку провину. При-били до стіни...

— Се що за лад у вас такий? — сердив ся Шевченко. — За мое добро така мені по-дяка?

— Ех, Тарасе, не знаєш ти нас! Ще ти не маєш чого нарікати...

Тарас загорнув ся ліпше у кожух і замовк. І Фед'кович не відзвивав ся, тілько думки ду-мав: «От як придав ся мені гуцульський сер-дак, усю воду втягає в себе!»

В кілька днів по бурі залатали дах Народного Дому. Будівничий уряд заборонив латати ґонтами, казав ужити бляхи. »І так — казав урядник — ґонти майже в середині міста се анахронізм. Тай другим домам небезпечно!«.

— Не журіть ся, — відповів йому виділовий, що не виїхав на ферії — ми ще вимуруємо таку палату з такою бляхою, що ну!

Урядник покинув журити ся, а тимчасом Народний Дім дістав зверха дивні білі, бляшані латки на чорних збутвілих ґонтах. Ті латки так блищали до сонця, що люди аж не могли дивити ся. Тай Народний Дім не міг спокійно дивити ся на ті бляхи. Часом потішав себе, що се ордери за довголітню службу, а часом і сердив ся, коли чув, як перехожі люди говорили: »Ну, тай полатали-ж стару руїну«. Справді дах виглядав дивно, так якби хто чорний, діравий капелюх полатав білим полотном зверха.

»Старість не радість!« думав собі Народний Дім і куняв на сонці до кінця ферій. У перших днях вересня ожив троха. До бурси приняли сорок хлопців, жвавих хлопців із сіл, що мали стати колись також руськими патріотами. Поки-що вони їли здоровенно, вчили ся і збиткували. У городі Народного Дому була осіння садовина, — до кількох днів її не стало. У куті города росла прекрасна щіпа, — бурсак зрізав її при самій землі, бо потребував бучка до пилки. Виноград ще не дістиг, але він смакував бурсакам дуже добре. Мураву столочили, де лиш яка була. І коли вони те все зробили,

виділ Народного Дому не міг збагнути і не знав, кого карати і як — вибачив молодим патріотам усі їх провини і тільки журив ся, звідки взяти на ту саранчу гроший, бо селяни, хоч обіцяли платити щонебудь за синів, але з платнею не квалиси ся.

Народний Дім не міг дивити ся спокійно на таке спустошене і рішив пімстити ся на бурсаках: доки сходи, що вели на подвір'я, держав при собі, то держав, а раз на злість бурсакам, пустив сходи саме в хвилю, як бурсаки по них ішли. Злетіли молоді вірлята України не у гору, тілько на долину, потовкли ся троха, але се на них небавом присохло, а Народний Дім мав потіху, що пімстив ся. Якийсь примховатий зробив ся старий: дітий не любив! І то ще яких дітий: надію Руси, будучих великих патріотів!

Зроблено нові сходи і Народний Дім утихомирив ся на кілька місяців. Привик до голосу молодих і старих та до гусий, качок, курій і пантарок, які завела собі господиня бурси. Сей дріб ходив за дня по подвірю, а на ніч мусів він іти у велику пивницю, саме під салею Народного Дому. То нераз, бувало, Народний Дім аж стрясеть ся дос্যвіта, як у нім запіє десь у самій глубині когут, або скричать проклятущі пантарки. Сі пантарки найбільше йому досолили: голос їх так і ріже пилою усякого по серці.

Осінь перебув Народний Дім без особливішої пригоди, аж як по Йордані прийшли мясни-

ці зміркував старий, що приходить на нього тяжкий час. Він знов, що веселий руський на-
рід має деякі свої і чужі танці, від котрих уся
хата мусить трясти ся, хочби не хотіла. А На-
родний Дім був уже такий слабий у своїм тілі,
так бояв ся, що не вдергить усіх своїх костій
при купі, що на мясниці ждав, як на свою
смерть.

Перший вечерок минув ся без пригоди. Одно лише замітили веселі гості, що під час танцю і стара велика груба при стіні також танцювала. Коли запалили у ній у середині і вона розігріла ся, а потім придивила ся, як молодіж танцює, як руські молодці присюдами ходять, мов раки лазять, не втерпіла стара, давай і собі хитати ся то в сей то в той бік. Се розсердило матери дочок і вони важадали від виділу, щоби привязати грубу грубим дротом до стіни, бо ще готова вибігти на салю і побити дівчата. Виділ зрозумів, що мами добре кажуть, бо груба справді була собі здоровенна, хоч і стара, і привязали її дротом до стіни. З пересердя груба остигла і вже потім не гріла ніколи, хоч ти у ній пали цілий день. І колиб не те, що в салі бували звичайно самі горячі патріоти і патріотки, то тут би в зимі не можна було і всидіти.

Другий вечерок до самої півночи ішов добре. Гості так розважили ся, що аж любо було дивити ся. Мами попід стінами ще не спали, тілько радо згадували давні часи та пильно зиркали за своїми доньками, з ким танцюють.

Прийшов польський танець мазур. П'ятьдесят пар стануло на салі. »Ну-ну, думав собі Народний Дім, чи відержу я сей танець до кінця? Не досить їм руської скаженої коломийки, від котрої мене за кождим разом три дні kosti болять, — треба їм ще такого самого скаженого польського мазура. I се руські патріоти!«

Отсє воркотанє старого дому чути було виразно під час танцю, особливо в місці кологруби. Звідтам звичайно кождий панич розпускав свої ноги, як крила, або там спинявся і бив запятками черевиків об себе, та ставав так твердо на підлогу, що аж портрети на стінах хиталися і груба хитала ся і цілий Народний Дім тряс ся. Пів години терпів Народний Дім тяжкі удари в се болюче місце коло груби та думав: чей уже раз буде конець тому скаженому мазурови? Ні! ще ждало кільканадцять пар! Народний Дім ще чекав із чверть години, але коли потім усі п'ятьдесят пар пустилися відразу підскакувати та виголкувати, старий не втерпів, у всіх суставах так його заболіло, що він половину підлоги саме довкола груби пустив із рук і вона провалила ся в пивницю. Привязана груба дивним дивом стояла далі, а підлога так чудно навскіс запала ся в пивницю, що з кільканадцять танцюючих пар зісунуло ся в низ просто між гуси, качки, кури і пантарки бурсацької господині.

Ой, то не білі гуси загегали рано в ранці до схід сонця, се кричали білі лебідки-красавиці у пивниці; то не когути закукурікали, лопо-

чучи крилами на плоті, то руські паничі зверещали ріжними голосами на дні Народного Дому, лопочучи руками і ногами у темноті. А білі гуси і качки, чубаті кури і перлисті пантарки не могли перекричати тих, що на них упали; погибли деякі придавлені білимі дівочими грудьми та танцюристими ногами патріотів. Сам аранжер танців забив когута, сівши йому на голову, мов на канапу. Котрі-ж не погибли, злетіли з криком бистрими крилами в гору, у салю, у ясний сьвіт, у мир хрещений. Скричали мами, стоячи над пропастию, темною і незапашною; збігли ся батьки з буфету, похилили ся, стогнучи, над безоднею і простягли руки, але не могли нікого досягти.

— Дайте драбини! — скричало кількох нараз.

— Відчиніть пивницю! — кричали інші.

І драбину принесли і пивницю відчинили: впятали всіх на верх, хто тілько був упав. Де-что потовк ся, де-что носа розбив або руки обдер троха, але більшого нещастя не було. Остатчний вилазив на верх аранжер, загально люблений усіма паннами. Але тілько він виліз на пів драбини, так що впало на нього сьвітло, всі жінки розбігли ся, а мушки стали зловіщо шепотіти: — Не вилазіть! не вилазіть! Вам роздерло ся дешо... там, де не треба.

Аранжер оглянув ся на «дешо» і сумний вліз у пивницю та вийшов дверми на подвір'є. Сеї ночі уже ніхто не бачив його на салі. І всі інші пішли чим скорше домів. По двох годи-

нах було в Народнім Домі тихо, тілько господиня бурси плакала над своїм дробом та дорізвувала недобитків. З отсіх недобитків найбільше поплило крові, — погибли, нещасні, за землю руськую, за Народний Дім. І ніщо не прийшло їм з того, що їх на другий день поїли будучі патріоти, голодні бурсаки. Тілько кілька курок лишило ся — бідні вдови по нещаснім когуті...

Руська патріотичня душа то загадка нерозгадана. Здавалось би, що після такої пригоди, де Народний Дім вимовив свою народови службу, бо нарід не давав о нього, виділ сего Дому і сам утратив віру в нарід. Отже пі! Віра в нарід спасла їх і Народний Дім. Вони рішилися будувати нову палату. Думали будувати дім за 25 тисячий, але склало ся так дивно, що вибудували за 50 тисячий. Коли вже дім був готовий і вони счислили всі позички та векслі, покивали сумно головами, подумали хвилину, а там і потішив один виділовий другого:

— Сплата на трийцять літ! Чого нам журити ся? Або ми доживем?

— Правда! нехай журяться трохи і ті, що прийдуть по нас.

Таким способом стали руськими патріотами уже й ті, що були тілько в колищках, або ще і не вродилися.

1898.

„Нашолъ литератора“.

Бути Росиянином у границях Росії — річ дуже почесна, але не все приємна, тому, що від кожного жадають участі в суспільних справах; але бути Росиянином поза границями Росії, на приклад у Галичині, — і приємно і легко і хосенно і навіть дуже вигідно. В краю темнота, потрібні школи, але неросийські, — Росиянинови про се байдуже; в краю панує біда і кров тече в політичних боротьбах — Росиянин тому рад, бо все те показує, який нікчемний се край в порівнанію з Росією від Балтійського моря по Чорне море і по Тихий океан.

— Да, — говорив бувало між добрими знайомими адвокат Іван Петрович Сироїд або Сироєдов — наше житє було би дуже приємне, колиб тілько ми мали гроші, гроші і ще раз гроші.

Але гроший не було стілько, скілько треба, щоби душа заграницького Росиянина була спокійна і щаслива.

— А від чого ж у нас Росія? — відповідали йому. — Шукайте «літераторів». У Росії Богато їх!

— Далеко шукати! — замічав Сироїд сумно і замовкав.

Слово »літератор« вимовляли знакомі господина І. П. Сироїда з великим поважанням, хоч воно не мало нічого спільногого з літературою. Коли котрий з галицьких Росиян, переїзджаючи в Росію, посылав у Галичину телеграму »Нашоль літератора«, — то ся телеграма і без названого літерата викликувала в адресатів більше одушевлення, ніж викликала би дійсна поява нового Пушкіна в росийській літературі. Таємне в таких телеграмах було се, що в Росії є літерати і — літерати. Одні, ті правдиві — дуже поважані і потрібні люди, тому що вони »пишуть літературу«, але до них галицькому Росиянину мало діла; вони і не прошені подадутъйому все, чого тільки душа забажає; зрештою він і не цікавий на їх роботу; другі ж літерати, хоч і не пишуть нічого, сто раз присмійші за-граничним Росиянам. Се їх опікуни і добродії, що дають гроші і за те заслугують не тілько на скромну назву »літерат«, але й на більше грімкі означення. Такі літерати мають також своїх прихильників і то далеко вдячніших, як мають правдиві літерати.

— Ех, якби мені пайти якого літерата! — думав, бувало, г. Сироїд. — Хиба я не »руsskij« патріот?

І прочитавши про тисячлітній ювілей хрещення Руси в Київі, він вибрав ся туди разом із своїм приятелем Спірідоном Семеновичем Бігуном, щоби подивити ся на правдивих Ро-

сиян і відітхнути правдивим росийським повітrem. Крім того г. Сироїд, як повірник найпатріотичнійших галицьких Росиян, мав і секретне поручене віднайти «літератів», і особливо зложити своє поважане графови Трушобіну, про котрого ходила чутка, що він дуже жалує загораничних Росиян. Треба-ж дати добродушному графови нагоду, щоб доказав своє співчуття ділом, тому що саме співчутя Руси не виратувє.

У Київ приїхали оба приятелі ще перед ювілеєм. Стало оглядати матір руських городів. Вилізли на Софійську дзвінницю, наполохали голубів, що там гніздяться, і глянули тужними очима на золоті бані Михайлівського монастиря, що так і блищає на сонці.

— Ех! — зітхнув гірко п. Сироїд — коби мені дали хоч одну таку баню!

— А мені другу — сказав г. Бігун. — От куди подівають золото, а в нас біда...

Але золотих бань не дав їм ніхто; за те вони під час съвята хрещеня мали приємність розмавляти з правдивими Росиянами, опікунами загораничних Росиян. Вони нашли їх, бо хто шукає, той найде, а хоч нераз і не шукає, то також найде. Що більше: вони відшукали самого гр. Трушобіна в одній реставрації. Сироїд і Бігун зараз представилися йому.

— Сироєдов, присяжний паверений з Галиції, — мой друг Бегун.

— Граф Трушобін.

— Очень, очень рад.

Сироїд не брехав: він справді був дуже

рад. Він дуже радо, хоч і зо смутком, розповідав ґрафови про переслідування галицьких Росіян, про латинську і польську пропаганду, і довів ґрафа до гірких сліз. У ґрафа була добра росийська душа і він не міг без смутку слухати про переслідуванє росийського племени. »Сорочку дам з себе!« — говорив він, випивши третю фляшку вина.

— Ну, сорочки нам не треба! — подумав Сироїд, але мовчав і тілько зітхнув. Бігун також зітхнув.

Але по четвертій фляшці вина ґраф добув портфель.

— Сироїд аж прикучинув, ожидаючи зі скромною міною. Але ґраф портфель сховав. — Прийдіть завтра до мене в готель! — сказав Сироїдови.

Оба приятелі склонили ся низенько.

Рано пішов Сироїд у готель до ґрафа. Не довго був там і не коротко, — дістав від ґрафа три тисячі рублів на »галицько-русскуу университетскую молодежь«.

— Памятайте, се на молодіж, — говорив ґраф поважно, — щоби з них вийшли »рускі« патріоти!

— На молодіж, на молодіж. Спасибіг вам!

Ще два-три слова і Сироїд вийшов, — нема вже чого більше й балакати з ґрафом. Славний літерат — тай годі! Хоч і не першорядний, але й не з остатних.

На сходах Сироїд нараз спинив ся, усміхнув ся, виняв портфель, тисяч рублів переложив у свою портмонетку, а дві тисячі лишив у портфелю.

На улиці ждав на нього Бігун.

— Ти тут? — здивував ся Сироїд.

— Скілько дав? — спитав ся Бігун.

— Дві тисячі.

— Мало!

— Що робити? Всякое даяніє благо.

— Ми возьмемо собі з того на дорогу?

— О, ні! — обурив ся Сироїд — то для нашої молодіжі, для студентів!... Так... А тепер якже ми то зробимо? Ти вертаєш завтра до дому, правда? От маєш ті дві тисячі, передай їх Венедиктові Михайловичу, а я ще чкурну в Москву і в Пітер — варто подивити ся! Тай діло маю...

— І я поїхав би, та нема грошей — відповів Бігун сумно. Ех, гроші, гроші!... Чи післати нашим телеграму!

— А чому ж не післати? Нехай урадують ся.

І у Львів пішла благовістна телеграма: »Нашолъ литератора, Сироѣдовъ«.

— А колиб так і я поїхав з тобою в Москву? — спитав ся Бігун у свого приятеля.

— Якже так? Адже ти не маєш грошей!

— Маю-ж дві тисячі...

— Годі!

Як годі, то годі!

Бігун від'їхав на другий день з двома тисячами до Галичини. По дорозі він думав і передумував і не видумав нічого. Але, опинивши ся на першій стації в Галичині, він нараз вда-

рив себе долонею в чоло і промовив: »Я не дурень.«

Ніхто йому й не казав, що він дурень, і нараз прийшла йому так нечесна гадка до голови.

— Хто знає, чи не взяв чого і Сироїд? — думав Бігун.

— Він же також не мав наміру і грошей, щоби їхати в Москву і в Петербург і нараз... Гм...

У Львів приїхав г. Бігун дуже поважний і засмучений.

— Ну, якже? — спитав його »маститий« патріот Венедикт Михайлович Петрович, великий опікун молодёжі. — Привезли богато?

— Небогато. Тисячу рублів.

— Мало.

— Що робити? Всякое даяніє благо. Може Сироїд привезе більше з Москви та з Петербурга.

Г. В. М. Петрович приняв тисячу рублів від г. Бігуна.

На другий день В. М. Петрович приклікав до себе голову студентського товариства „Руський Острівъ“ г. Владимира Нік. Розборского і у своїй квартирі мав до нього поважну промову:

— Наші »русскі« добродії прислали на ваше товариство чотириста рублів. Ви знаєте, за що і на що.

— Мало! — відповів Розборский.

— Що робити? Всякое даяніє благо. Ось вам гроші. Тілько все тайна, розумієте?

— Розумію.

— Ані слова нікому! Роздайте тим, що по-
требують, і будьте вдячні. Колиб не я, то ви...

— Спасибі вам, г. Венедикт Михайлович!

Г. голова »Русского Острова« і будущий
провідник галицьких Росян був чоловік дуже
розумний; він знов, що секрет повинен лишити
ся секретом. І тому, щоби, буває, його молодий
язик не вихопився з якою нісенітницею, він і
вийшов зараз кудись разом з грішми. Коли вже
секрет — нехай же буде секрет як найбільший.

І був секрет секретом цілий тиждень. А
потім г. Венедикт Махайлович спітався у двох
членів »Русского Острова«, чи дістали вони що
з запомоги.

— Ані копійки! З якої запомоги?

— Розборський не говорив вам нічого?

— Ні! Його й нема тепер у Львові.

— Гм... Коли вернеться, пришліть його до
мене.

По місяці Розборський вернувся. Товариші
до нього:

— Ти де бував?

— Дома, в Празі, у Відні...

— Ти?! Звідки-ж ти взяв грошей?

— Мав свої.

— Ні, Розборський, ти не бреши! Ти взяв
чотириста рублів?

— Яких чотириста рублів?

— Ах, ти злодію і »мошеннику!« І ти ще
брешеш?

— Якже так? Адже то був секрет?

Наші знакомі.

— Давай гроші! То наші! Товариства!
 — Не маю! У Відни вони, в Празі...
 — Не маєш? Так ось тобі за злодійство!
 — Не бий, Данчук! Минулого року не
 вкрав ти сто рублів?

Але Данчук і товариші розлютилися: по-
 сипалися поличники, полила ся кров з носа
 Розборського і закрасила поміст »Русского Остро-
 ва« — »русскою« кровлю.

Бюст Пушкіна на шафі бібліотеки това-
 риства усміхався на вид чудної події, але на-
 раз Розборський скопив його за шию і розбив на
 голові товариша. Сповнившись таку непочесну
 роботу, Пушкін розсипався на черепки, а Остро-
 в'яни подоптали його ногами.

Того самого дня Розборського скинули з
 головства »Русского Острова« він зараз виїхав
 туди, де не було. Але »Русский Островъ« цвіте
 по нинішній день, на славу цілої Росії, бо
 »рускі літерати« ще не перевелись.

Треба ще сказати, що секрет гг. Сироїда,
 Бігуна, Петровича і »Русского Острова« був тіль-
 ко їм відомий, — і не диво: »загранична полі-
 тика« вимагає нераз як найбільшого секрету...

1898.

Еманципация мущин.

Роман Сидорів, один з редакторів «Руского Днівника», вернув сьогодня по обіді з каварні в дуже поганім настрою до дому. Замкнув двері своєї комнати на ключ, виняв з кишень малий пакетик і поклав на стіл, потім скинув із себе пальто і сів на крісло. Все те робив він з очевидним пересердем, яке не щезало з його лиця і тоді, коли він закурив собі папіроску і, мов від нехочу, взяв у руки книжку, що лежала перед ним на столі. Книжка мала заголовок: «Дівочі сліози. Істория терпінь дівчини». Роман перекинув кілька карток і чимскоршє запхав книжку під купу ріжних часописій на столі, — видко, не хотів на неї й дивити ся. Але невдоволене і після того не щезало з його лиця. Він дивив ся хмарними очима на малий пакетик, брав його кілька разів у руки і клав обережно наново на стіл, так якби у нім було щось небезпечне: яка отруя або револьвер...

Уже з самого ранку Роман почував себе недобре. Якась порожнеча взяла ся в його голові і в серці, так що цілий світ йому опротивів. Одно лише знов він добре, що жде його гірка чаша, яку раз треба випити. Вже від двох місяців бачив він, як се лихо зближає ся, росте щораз більше і з цілою ватагою чорних думок

*

суне ся на нього, мов чорна хмара. Йому було щораз прикрійше являти ся між людьми, бо кождий зараз пізнавав його недолю і оглядав його з милосерним усьміхом. А вже перед жіноцтвом годі було йому і показати ся: воно дивило ся на нього і з глумом і з жалем і з докором та шептало поміж собою таємно...

— Треба раз тому зробити конець! — сказав собі Роман сего дня рано і отсе прийшла тепер хвилина, коли він мав виконати свій намір. Він підняв ся з крісла, попробував ще раз, чи двері замкнені, приступив потім до стола і помалу розгорнув зловіщий пакетик. У нім були — — нитки, голки і гузики...

Усів на крісло і поклав на колінах своє пальто. Почав числити, кілько гузиків відорвало ся. Цілих сім гузиків не доставало з одного і другого боку, лишив ся тілько один, як сирота...

Роман із суворим лицем заложив нитку у голку, поклав недокурену папіроску у попільнницю і почав пришивати перший гузик.

* * *

На душі було йому прикро, а хатня тишіна вражала його гірше найбільшого галасу. Тільки будильник тикає собі правильно та замучував спокійно і немилосерно на своїх колісцях хвилину за хвилиною, як давні інквізитори чарівниць. Більше ніхто й ніщо не відзвивало ся в квартирі і ся тишина наводила на Романа са-

мі невідрядні думки. Колиб хоч сиділа коло нього Зоня, донька Павловської, ся люба щебетушка, то не було би йому так сумно. Тимчасом її тут нема — він сам сидить у своїй хаті, як сидів сам учера, передвчера, тому тиждень, тому місяць, тому рік і протягом останніх десятьох літ.

Колиб хоч Зоня сиділа ось тут коло нього на софі та щебетала про всякую всячину! Він приніс би їй з міста ріжних помадок та чеколядок, а вона за те — як звичайно се робить дома — съпівала би йому що-небудь, деклямувала, казку казала, або в доміно грала з ним, або й поцілувала би його. Люба дівчина! А яка розумна! Просто дивує всіх своєю мудростю, хоч притім у неї в деяких справах — просто чудова наївність, якою і натішити ся годі. »Я люблю її!« приходить Романови на думку. »І вона любить мене. Се явна річ і ми з сим не криємося перед ніким. Колиб вона була так уже на порі, я взяв би її за жінку, але вона має тільки шість літ і кличе мене вуйком, хоч я зовсім не її свояк, отже ніщо з того...«

Або колиб хоч сидів тут у хаті Гектор пані Павловської. Се просто роскіш мати такого великого і розумного собаку дома! Він на привітанні подає передну праву лабу, а як з ким у великій приязні, то стає на задні лаби і ціллує в лиці або в руки, коли до лиця не може досягнути. Роман, коли тільки бував у пані Павловської в гостях, завсіди витає ся з Гектором і притискає його широ як приятель до

своїх грудий. За то Гектор цілий час не зводить з нього погляду, ласить ся коло нього, кладе свою голову на його коліна і не хоче відсту-
пiti ся від нього. Такого собаку мати!... Але се
лиш ідеал, котрий і богато коштує і богато
єсть, а Роман не має грошей...

Пані Павловська все запевнює Романа, що він мусить бути добрым чоловіком, бо його лю-
бллять діти і собаки. Роман не перечить ся з нею,
бо і сам справді не знає, за що міг би хто назвати
його злим чоловіком. Він має деякі свої прим-
хи, але їх кождий має.

Тріс! зломила ся голка. Але перший ґузик
був уже майже пришитий так, що Роман тільки
завязав вузлик, спокійно взяв другу голку і дру-
гий ґузик і почав пришивати. Таку просту ро-
боту годі робити, не думаючи про що-небудь;
Роман закурив нову папіроску і думав. Та хоч
як силкував ся прогнати від себе навіsnі думки,
які наводило на него саме пришиване ґузиків,
сі думки не відлігали, інші не прилітали, —
папіроска в зубах Романа загасла і він думав.

* * *

Здавалось би: чи може бути менше пое-
тична річ, як пришиване ґузиків, а проте ніхто
не знає і не вгадає тайн душі; вона, як ся
таблиця на стрільниці до забави; ти стрілиш
шротом або хоч ґузиком, — поцілив і бачиш:
вискакує ізза таблиці панна з хоруговкою, а
схована катаринка грає триюмфального марша.

Роман згадав панну Стефанію.

Було се у вечір під новий рік. Пані Па-

вловська, давня знакома Романа, справляла у себе гостину на привіт нового року. Запросила і Романа до себе. Він прийшов, привітався з людьми із Гектором, Зоні дав помадки і вступив з господинею дому до сальону, де були ще інші гості.

— Пан Роман Сидорів. Моя бабка, моя кузинка Стефанія, пан радник суду Скрутиньский.

— Дуже мені приємно — дуже приємно.

— Прошу сідати.

Роман присівся до громади познакомлених з ним гостей. Був тут ще і Павловський.

— Я перешкодив у розмові, — відозвався Роман — прошу дальше її вести. — Я зачувавшось про ідеальну жінку. Тема дуже цікава.

Бабка (з окулярами на носі і з солодким усміхом): Власне я хотіла сказати, що ідеальна жінка повинна бути побожна, господарна, салюонова, повинна любити мужа, але не мішатися в його справи. Розумна жінка, себ-то розумніша від мужа, то нещастє. За моїх часів таких не було.

Павловська: Ну, я не сказала би, щоб розумніша жінка шкодила у чім свому мужеві. Мій муж...

Павловський (настражений): Але-ж Олю, що ти мене...?

Пан радник суду: Я тої самої думки, що поважана старша пані.

Стефанія: А я думаю, що тепер уже зовсім інші часи і вимоги. Рівне право як для мужчин так і для женщин! Усі повинні бути

розумні. І мужови і жінці красше з розумним згубити, як з дурним найти.

Роман глянув на Стефанію — прегарна дівчина! Він чув про неї нераз, бачив її фотографію у тітки Павловської, але не думав, щоб вона була справді така гарна і така розумна!

Бабка (з ласкавим усміхом): Га! тепер інші часи. Вже моя Оля вчила ся більше, як я, а ти (до Стефанії) ще більше, як тітка. Чого тільки вона не вчила ся: і господарства і музики і гігієни і фізики — всего вчила ся. Навіть посади шукала собі, аби заробляти на хліб; тілько ми відрадили їй, бо не потребувє мучити себе.

Стефанія: Богато вчила ся я, а мало що знаю.

Пан радник суду: Панна Стефанія дуже скромна.

Стефанія: О ні! Нема прикрійшого компліменту, як когось хвалити за скромність. Що се таке скромність?

Бабка зітхає.

Радник дивує ся.

Павловська: А ви, пане Романе, як думаете: Яка повинна бути ідеальна жінка?

Роман: Жінку повинно тішити, смутити і взагалі займати те все, що її мужа. Вона повинна розуміти його, а розуміти не може без освіти. Вона в потребі повинна вміти обійтися без його помочи і ласки, повинна знати заробляти на житє. Не повинна кривити ся, коли

він іде на пиво або чорну каву, тільки повинна з ним пійти.

Радник, (з глумливим усміхом). Пан Сидорів дуже поступовий.

Стефанія: Пан Сидорів сказав дуже розумно.

Павловська: Прошу до вечері!

Павловський: Се також розумно сказано.

Всі встали, щоби перейти до їdalньї. Романови прийшло ся вести панну Стефанію попід руку.

— Дякую вам, папе, що обстаєте за нами..

— О, пані! За вами я готов...

— Ви з компліментами? Се вам не до лиця.

— Щож, коли чую потребу сказати комплімент.

— Заховайте його для іншої панни, я не люблю компліментів.

Роман зачудував ся. Прегарна дівчина — просто роскіш! І де вона виросла така розумна і гарна!

— Уже більше не скажу вам ніякого компліменту, хочби й було за що.

— Згода! Будете на вечерках? Я приїхала трохи забавити ся в мясницях.

— Буду.

— Танцювати любите?

— Як з ким.

— Наприклад, зі мною?

— Дуже радо.

Сіли вечеряти поруч себе. З другого боку.

панні Стефанії сидів радник, але вона розмовляла з ним мало. За те з Романом не могла наговорити ся, головно про жіночу справу. Роман зовсім годив ся на її думки, а вона на його.

Вечір минув як гарний сон, а коли вдарила дванацята година, Роман і Стефанія привітали новий рік, як добрі приятелі.

Потім Павловська оповідала йому, що він дуже сподобав ся панні Стефанії. Роман був щасливий. Давно глядав такої дівчини і найшов...

Нитка замотала ся так, що годі було дальше шити. Але ґузик уже й так тримав ся сукна страшенно сильно. Роман урвав нитку і зробив вузлик. Другий ґузик був пришитий...

* * *

Розглянувшись у своїй гардеробі, Роман зміркував, що на мясниці доконче потрібно йому нової фракової одежі. Видаток був незвичайний, він не мав стілько грошей. Отже написав до свого батька по гроші. Тимчасом уже й замовив у кравця одежду. Ждав цілий тиждень — відповіди не було і гроші не прийшли. Але по тижні приїхав до нього батько і перші його слова, якими привітав сина, були такі:

— Чи ти вже забув, як брав за молоду в шкіру? Дивись: отсе палиця! Якби не те, що ти сам здоров і сильний, як медвідь, я пригадав би тобі хлопячі літа.. Такий старий хлоп, що йому вже трийцять чотири роки, а він у мене гроший просить! Се просто сором! Я мушу раз тому всему зробити конець! Я тебе оженю!

— З ким, тату?

— Меньше о те, з ким; будеш мати гроші і можеш до смерти остати ся тим проклятим газетярем! Я вже умовив ся з її батьком.

— Вже умовив ся!

— Щож ти, йолупе, дивуєш ся! Коли ти не думаєш нічого, то я за тебе мушу думати. Не буду-ж я тобі вічно посилати грошій! В мене є ще донька!

— Pardon, тату! Ви на мене по правді видали дуже мало. Я сам заробляв і заробляю на себе! Великими видаткати на мене не можете мені дорікати. Донька певно коштує все більше, не рахуючи посагу, який, складаєте для неї.

— Мовчи! Одягай ся, поїдемо! Завтра вечерок у стрия, там буде вона. Вона тебе знає і вийде за тебе.

— Хто ж вона така?

— Не скажу тобі, але ти її знаєш.

Поїхали. Романа переймало і горячкою і морозом на згадку, що так торгуєть його серцем, але він справді лякав ся тяжкої будущини і думав собі, що взяти добрий посаг за жінкою кому як кому а йому дуже придалось би. Його суспільне становище було незначне, виглядів на будущину ніяких, — нехай прийде на него недуга, і він -- жебрак у шпитали. Батько-мати — вони помогли би, але діти у них більше, а доходів не богато. І треба продати себе, хоч серце болить. От його сестрі Наталці добре: зросла пещена і не бита, не так як братя; від 16-го року бавила ся, а тепер у 20-ім році має

судженого, котрого любить; за кілька місяців вийде за него замуж — усе йде в ній старим, утоптаним шляхом, без тої борби, яку перейшов Роман. Чиж думав він коли бути публіцистом?! А жите зложило ся так, що він по всяких гірких невдачах і розчарованнях опинився в редакції. Колись думав дорівняти Шекспірові і Шевченкові, а сего дня пише про Драйфуса і про съмілу крадіжку у церкві в Пятигорськах.

»Ох-ох! чому я не вродив ся дівчиною! Нехай би моя сестра була Романом, а я Наталкою! Я очевидно люблю Стефанію і маю повне право любити її, але не маю ніякого права взяти її! А тепер їду як ягня на заріз«.

Вечерок у стрия. Він привитав ся з ріжними паннами, але не зінав, котра йому призначена. Віднайшов матір і питав ся її, з ким то думають їого сватати.

— Щож, ти не знаєш? Батько тобі не сказав? З Ганчаківною.

— З Ганчаківною! О Боже! Бувайте здорові, мамуню, я зараз вертаю ся до Львова!

— Що тобі? Ти здурів? Хтож таке видав? Тілько сорому нам наробыш.

— Мамо, мамо! Чому ви мене не втопили дитиною?!

— Іди між панни! Не роби дурниці! Ти не студент.

При вечері посадили Романа коло Ганчаківної. Вона сиділа коло него несъміла, як 16-літна панна, хоч уже мала певно стілько літ,

що Роман. А він скулив ся так, що найменьше половина з його великої постави кудись поділа ся. Обоє не дивили ся на себе, мовчали, тільки вона часом усміхала ся так, що Романови аж мороз ішов поза плечі. Раз тільки глипнув він на її припорощене чимсь волосся і побілене лицце — і з великим завзяттям випив подану чарку горівки.

Розмова при шинці: — Пані нап'єте ся вина чи пива?

— Я не пю нічого, тілько каву.

Роман думав-думав, що далі сказати, і не видумав нічого. Його фантазия мучила ся, як мотиль на шпильці, але злетіти не могла.

При полядвиці: — Ви читали »Дівочі сльози«?

— Ні. Кажуть, що то не випадає паннам читати сю повість. Мені мама заборонила.

Роман їв зявзято полядвицю і думав, що далі казати, але знову не видумав нічого. Просто порожна була голова як бочка. Що за нещасть!!

При індику: — Та напийте ся, пані, вина або пива!

— Ні, дякую!

Роман знову їв, думав і дивував ся, що не годен нічого видумати. Ale то зовсім нічого! Він, що писав нераз такі веселі фейлетони під неділю! О Боже, що за мука! I длячого мушкини мають обовязок бавити жінок? Звідки такий гіренький обовязок?

Роман глянув на матір з жалем, але вона

поглядом наказувала йому бавити сусідку. Він зрозумів сей погляд, але на щастя подали морожене і його сусідка заняла ся мороженим більше як чим іншим; не треба було її бавити.

Вечера скінчила ся. До Романа прийшла мати: — Ти мусиш з нею танцювати! Руш ся, хлопче! Ти сьогодня зовсім до нічого.

— Мамо, кажіть мені зрубати сяжені дров, кажіть розвалити хату, що небудь, — все зроблю, а танцювати з нею не буду.

— Мусиш!

Роман сів і задумав ся. Що діяти? В його душі перевертало ся, як у горшку з кипятком. Такої муки він уже давно не зазнав.

Вкінці він рішив ся. Поглянув на годинник, забрав нишком пальто і капелюх, вийшов на город, перескочив пліт, трохи не побіг на дворець зелізниці і за пів години був уже в дорозі до Львова. Аж відітхнув лекше, коли поїзд виїхав у поле.

Потім батько прислав йому лист, в котрім писав, що вирікає ся його, але Роман сказав собі, що красше таке нещастя, як те велике, що його ждало. Рівночасно писала йому сестра, що його утечу витолкувала мати гостям наглою слабостию — отже все в порядку.

Згадка на се сватанє, а особливо на Ганчаківну, так його заняла, що коли він притис до стола голку, щоби її ще раз перепхати через тісну дірку гузика, замітив нараз, що разом з гузиком пришив і кишеню в поперек до верх-

нього сукна і до підшивки. Роман не думав довго, що тепер робити; він спробував, чи можна запхати руку в кишеню і як побачив, що можна, хоч і невигідно, лишив її пришиту. Шкода відривати гузик, пришитий так гладко і сильно.

Роман закурив папіроску і вдоволено глянув на свою роботу. Аби себе як небудь нагородити за неї і набрати сили до дальншого шиття, він на спірті за кілька хвилин зварив воду і запарив чай. Небавом у склянці червонів ся чай і Роман, попиваючи його, шив далі.

* * *

От щастє, що тепер хоч умів зробити собі чай, а перше ж того не знав. І в думку йому не приходило, що можна щось таке дома зробити і то без помочи жінки, чи взагалі жіночих рук. Протягом двох років сторожиха камениці, що послугувала в нього, приносила йому що-рана до ліжка каву. Він тільки пробудив ся, а кава стояла вже коло нього готова. Вигода була незвичайна. Але склало ся раз, саме по пригоді з Ганчаківною, що він, скупавши ся і випаривши ся у парні, зважив ся потім на автоматичній вазі і з перестрахом побачив, що важить не 78 кільограмів, як давнійше, тільки 68. За два роки втратив десять кільogramів на вазі. Колиб так він що два роки тратив по десять кільogramів, що за яких 14 літ міг дійти до 0 ваги і зовсім щезнути з землі, не доживши і 50 літ віку.

Се застановило його і налякало. Він став думати над тим, що єсть і пє, бо доси не зважав на се. І з того часу, як він почав придивляти ся їді і напоям, він почув себе хорим. В реставрації, де харчував ся, він нераз думки думав над росолом так довго, поки той не покрив ся верствою лою; або ждав, поки сос застигне на студенець, і краяв його потім ножем, придивляючись йому з недовір'ям, у великий непевности, чи сос повинен так зараз застигнути, чи ні. І він нераз і не пообідавши, ішов до дому голоден, а радше не голоден, лише байдужний на їду.

Рівночасно звернув він увагу і на каву, що йому що рана приносила сторожиха. Він почав її порівнювати з кавою у каварні і здало ся йому, що вона не така сама. Мав охоту зараз висварити свою послугачку, але щоби її не чіпати ся за дармо, дав перше розібрati сю каву знакомому товаришови-хемікови. Хемік розібрав і просто переполошив Романа аналізою.

— Знаєш — каже — що ти пєш? Ти пєш замісць кави чорнило до черевиків, чорнило до писання, муку, масло, смалець і воду забілену молоком і осолоджену цукром.

— Справді? — спітав ся здивований Роман.

— Ну, того всого в тій каві нема, бо се за дорого коштувало би твою господиню, але як ти можеш пити таке паскудство? У тій каві все є, тілько кави нема. Чи ти вже смаку не маєш?

Се відкрите дуже зажурило Романа. Була се, правда, велика вигода, ще у ліжку пiti каву, але ся вигода очевидно також причинила ся до того, що він утратив на вазі аж десять кільограмів!

На другий день рано, ще сторожиха не прийшла із сніданем, як Роман зірвав ся з ліжка і став робити порядки на своїм столі. Не хотячи перевернув каламар і розлив чорнило. Очевидно треба було його стерти. Роман пішов до шафи, виняв сорочку і вже збирав ся стерти нею чорнило, коли в ту саму хвилю надійшла сторожиха з кавою.

— А ви що хочете робити? — майже скрикнула вона на Романа.

— Чорнило стерти.

— Та новою сорочкою?

— Яка вона нова? От дивіть ся: дірка прорвала ся, ковнірця не вдерхить.

А сторожиха глянула на нього так, якби то вона справила йому ту сорочку, вирвала йому її з рук і поклала знову у шафу.

— Ви — каже — певно не знаєте, скілько у вас сорочок?

— Двайцять чотири; торік числила прачка.

— Двайцять чотири! Ану порахуйте!

— Та на що?

— Порахуйте, бо ще будете думати, що я вам покрала.

— Добре, добре, я почислю потім.

— Ні, ви зараз почисліть!

Сторожиха говорила таким тоном, що Романі знамі.

ман не міг їй відмовити. Показало ся, що всіх сорочок було тілько тринайцять. А де поділи ся інші, ніхто не знов і не міг сказати.

— Ех, ви! — замітила сторожиха з таким маловаженем, що се Романа аж обурило і він, якби бажав їй відплатити ся за маловажене, сказав:

— Я вашої кави не буду пити.

— А то чому?

— Ви чорнилом чорніть мої черевики, а не мій жолудок.

— А се що знов таке?

— Ви мене хочете отруїти своєю кавою. Ту нема і зеренця кави — говорив Роман, показуючи на принесене сніданє, не то з жалем, не то з докором.

— Хто вам се казав? — уже аж кричала сторожиха.

— Я вже знаю напевно.

— Отже неправда і ще раз неправда! Я купую що найліпшу каву: сама її пю, і дітям даю, і вам... Се не правда!

— Ну, то пийте її здорові, я не можу, бо я хорій. Я вам так дорого платив за сю каву, а у вас нема сумління...

Він сказав се таким жалісним голосом, що яка була сторожиха язиката, а проте замовкла, дивуючись, що він спізнав ся на її каві. Вона собі дешевим способом заробляла кілька ґульденів на місяць, а тут — по двох роках — маєш! розпізнав! Треба справді не дурити його хоч якийсь час.

Пригода із сторожихою а потім обід, якого і не рушив, зовсім прибили Романа. Ко-тлєт, здавало ся, чистенький, сувіжий, румяний та прибраний гарненько всякою всячиною, викликав у нім таку відразу, що він зараз мусів вийти на сувіже повітре, щоби прийти до себе. А пополудни зараз пішов до лікаря. Лікар оглянув його докладно. Він пукав, слухав, випитував ся, оглядав язик — і вкінці сказав Романови, що він просто заморений голодом або ослаблений нездоровим харчем. На відході сказав йому, усміхаючись: »Найліпше зробите, коли ожените ся!«

Лікар думав, що подав добру і дотепну раду, тимчасом він тільки ще гірше прибив Романа. Оженити ся! Легко сказати! Взяти богату а без любови — не годить ся, тай чи вийшла би яка богата за нього?! Брати бідну з любови — також невелика потіха! Як зійдуться дві біди, то з того вийде тілько одна велика біда! »От якби Стефанія хотіла за мене вийти замуж — було би прегарно!« думав собі Роман. »Вона подобав ся мені дуже, до того має гроші, крім того вона еманципантка, що повинна би практично доказати вільний вибір мужа і по своїй виодобі, а я мабуть сподобав ся їй!«

Пригоди дня і невідрядні думки настроїли Романа дуже лірично; він чув виразну потребу родинного огнища, при котрім і сам міг би загріти свою душу, і жінка могла би варити здорові страви — і в такім настрою він майже несвідомо зайшов до пані Павловської.

*

Ішов сходами сумний і зівялий, як старий; куди то й сила його поділа ся! Але, вийшовши на перший поверх, у саму пору пригадав собі, що годі-ж йому таким зівялим показувати себе перед панною Стефанією — вона за маринованого оселедця не схоче вийти замуж! І він, яку мав силу, таку зібрав разом, та відчинив двері. Стефанія була у прихожій і тільки пурхнула, як пташка, до сусідної кімнати — не була відповідно одягнена, хоч мала на собі все, що треба.

При підвечірку — яка чудова була кава роботи пані Павловської! — Роман першим ділом завів розмову про свою недолю. Він був блідий і Павловська разом із Стефанією (бабка від'їхала) питала ся його, чому се. Він не розповів пригод того дня, лише нарікав загально на зависимість мужчин від жінщин.

— У школах — казав він — ми учимося кільканайцять літ і то всякої всячини: льогаритмів, аналітики, тригонометрії, аористів, грецьких і латинських нісенітниць, — а марного котлета зробити або каву не навчать. Кілько часу пропадає мужчинам марно на каварні, на реставрації! За сей час вони могли би зварити собі самі чи сніданє чи обід, — тимчасом ся штука то лише привілей жінок, а ми засуджені на ласку і неласку реставраційних кухарок, що нам подають отрую за дорогі гроші.

Панна Стефанія усміхала ся, але Роман говорив далі з очевидним пересувідченем: — Ми повинні вміти так само всі жіночі роботи

як жінки! Се просто нечувана несправедливість, що нас того не вчать. Адже наш мозок зовсім не гірший, як у жінок, і ми так само могли би навчити ся варити, шити, вишивати, пироги ліпiti та і т. п. Тимчасом тисячі літ жінки тайли сї штуки перед нами, щоб ми тільки не могли без них обійти ся. За що нам така зависимість, та-ка неволя, тепер, коли всяка твар говорить про волю і бажає її? «Мужчини, кажуть жінки, вольні! Спасибі за таку волю! Із жінок жадна не потребує заживати реставраційних отруй, лоїв, сосів і як там ті всі присмаки звуться. Кожда дочка вчить ся змалку сих найпотрібнішіх до життя відомостей, а нам кажуть учи-ти ся «витягати корінє» з чисел, що ми потім з корінем забувавмо.

— То се ви що задумуєте? — спітала ся панна Стефанія. — Еманципацію мужчин?

— А хочби! Як еманципація, то еманци-пуймо ся всі! Нехай кождий зазнає волі і не-хай йому на тій волі буде добре!

— Ет! — сказала на те пані Павловська.
— Замісь тає говорити, ви радше оженіть ся, се буде найліпше!

Але Роман боронив справи: — Я не кажу про тих, що можуть оженити ся, але що мають робити ті нещасні, що з ріжних причин не мо-жуть оженити ся? Адже ѿни мають право на життя, на любов і на всякі приємності!

— Не журіть ся ви другими, тілько самі оженіть ся і вже!

Роман тілько ждав на такий зворот у роз-

мові і жалісним голосом відповів: — А котра-ж мене схоче? Сего́дня жінки шукають не мужчин, тільки становища. Говорять про любов, потребу взаїмної любови, а люблять поправді тілько себе і тілько про себе й думають. Виходячи замуж, кожда питався: »А що буде, як муж по-мре?« Жадна не хоче вмерти скоріше від мужа. Се таке немилосернє, жорстоке питання, що якби моя суджена виповіла таку гадку, а я просе дізnavся, то ще від престола я завернувся би до кавалерського життя.

— Ви очевидний ворог жінок! — замітила панна Стефанія.

— Противно, я так їх люблю і вважаю по-трібними на сьвіті, що рад би не бачити на них ніякої скази.

Роман був дуже вдоволений із себе за свою промову і він трохи не сказав у голос: »А тепер ти, панно Стефаніє, бери на розум!« Стефанія справді передумувала його гадки і се було видно з її слів, які сказала Романові на відході: — Коли ми так поагітуємо енергічно за еманципацією жінщин і мужчин, то прийде час, що всі мужини перенесуться на н. пр. до Америки, а всі жінки до Європи і Азії, і будуть собі жити окремо, відділені океанами. Але чи ви прийдете на баль?

— Прийду.

Вона на прощання стиснула його руку, як стискають мужчини-товариші, крішко і широ. —

Нагадуючи собі сю розмову, Роман так задумався, що з половину голки запхав собі у

палець, скрикнув і аж підскочив з болю. Кров виступила з пальця. »Ну, от проклята робота!« думав він собі: »Треба наперсток собі купити. Тільки на який палець його накладає ся? Коли я вковов ся у палюх, то очевидно на него наперсток потрібний. Мушу при нагоді спитати про се яку жінку...« А поки - що Роман завязав вузлик — четвертий ґузик був пришитий! Він зітхнув вдоволено і випив чай, що зовсім уже застиг у склянці. Помалу, але з явною полекшою на серци і з роз'ясненим поглядом він шив дальше. — —

* * *

Приходив баль. Роман ждав його нетрепливо. Нову одежду вже мав у шафі, але ще не мав шапокляка, рукавичок, білої краватки, шовкової хустинки, перфуми, лякерків, кальшинів і — гроший. Все те він мав колись і зужив, і вже від двох літ думав, що крім гроший нічого з того не буде потребувати. Аж ось вийшло: треба знову! Видатки страшенні і то на один вечір! Найменше з рік треба буде те все сплачувати ратами. Та, ще колиби хоч виплатило ся! А правда: ще й букет для панни Стефанії! Який будь не можна дати: треба зaimпонувати... В якій то вона буде сукні?

На грошеві клопоти поміг Романови знайомий жидок, а в справі букета — хто би сподівав ся?! — стала Романови у великій пригоді маленька Зоня. Вона розповіла йому, яку

сукню буде мати Стефанія, ще й пробку матерії дала. Роман сковав сю пробку і дав зробити гарний букет з відповідним маншетом і лентами. Стефанія здивує ся, звідки він знав, яка в неї сукня. Роман був дуже рад із себе, але був і нетерпеливий, як панна перед балем. Цілий тиждень перед забавою він спав з перевязаними вусами, щоби виглядали красше. Решта лиця здавала ся йому менше важкою і інтересною для жіночого роду; впрочім не мав чого й лякати ся: його лице від реставраційного харчу було дуже інтересне: бліде, як у панночок, що йдять зернятка кави, оловці, уголь, цитрину, або й глину із груби. А чуприна була у нього здоровенна, густа як щітка і зачесана з фантазією в гору, так що високе, розумне чоло ціле було відкрите.

Але на день перед балем склала ся пригода, яка на хвилину сколотила його тихе щастя. Прийшов він до пані Павловської, бо просила його, щоб заняв ся деякими орудками; аж тут він тілько привітав ся, а Павловська з Стефанією просто налали його з гратуляціями.

— Гратулюємо! Ви заручені, а нам нічого не кажете!

— Хто вам казав? І з ким я заручений?

— Вже ми знаємо. Сьогодня лист дістали ми з сеї околиці, де ваша панна. Кажуть, що дуже богата.

— Я нічого не знаю.

— Не вдавайте! А Ганчаківна що?

— Ганчаківна!

Романови аж дух заперло. А тут Стефанія з докором до цього:

— Ви здавали ся мені такими щирими тимчасом виходить...

І в тім докорі Стефанії було стілько смутку і жалю!

— Алеж мої ласкаві пані! Присягаю ся, що я не заручений!

Дами не зважали на його присягу. Вони в таких справах не вірять присягам.

— Чи хоч гарна вона? молода? розумна?

— питалися обі цікаво.

— Покажіть нам її фотографію, що носите певно на серці! Чи буде завтра на балю?

Роман був просто оголомшений сими питаннями; одну тільки мав потіху, що у словах Стефанії чув виразно заздрість; було відко, що займає її. Він боронився, як лев, але йому не вірили. Тоді він став просити Бога, щоби прислав Ганчаківну на баль, — нехай би її Стефанія побачила і його не підозрівала... Його молитва була така щира, що Бог його справді послухав.

На балю була Ганчаківна: приїхала! Побачивши її, Стефанія усміхнула ся, але в ту саму хвилину і споважніла. — Хто знає? — сказала до Романа і Роман не зінав, як сі слова розуміти. Коли ж до того побачив на салі і радника, його серце переповнилося дивними почуваннями. Для відваги він випив четвертку вина в буфеті і йому стало трохи легше на серці. Перетанцювавши вальса із Стефанією, він по-

хожав з нею по салії (Ганчаківна трохи не з'їла їх обов' очима, а Стефанії се очевидно дуже сподобало ся) і бавив її веселою розмовою. Йому було так приємно!

— Ви читали »Дівочі слізки?« — питала ся панна Стефанія.

— Читав.

— Правда, чудова річ?... Що, ні? Ну, розуміється! Ви всі мушки однакові. Коли ми упоминаємося про рівноправність з вами, то вам се не подобається. Ви все хочете бути панами з повним правом на життя своє і наше, на працю, на любов, а нам ніяких прав не признаєте.

— Бо ви всіх наших обовязків не хочете на себе приняти. Прав хотіли би, а обовязків ні. На приклад у війську не служите — відповів Роман тілько для суперечки.

— Я служила би, як би мене взяли.

— Розуміється при гузарах і відразу офіциром. Уніформа богатий, нічого казати!

— Ет, ви всі думаете, що ми тілько за уніформами пропадаємо.

— Ну, то возьмім, коминарем згодились би бути? Подумайте собі, що ви бідні і приневолені бути коминарем, чорнити немилосерно своє біле личко сажею, але зате вилазити комином на дах, на те найвисше становище, яке тілько мушки займали доси. Не схотіли-б? От бачите!

— Всеж таки ви маєте волю, а ми невільниці!

— Звісно, звісно: ми маємо волю любити

панну і дістати гарбуза. Ми вибираємо, а ви бідні тілько ждете... Право на гарбузи ми вам любісінько відступимо. Поміняймо ся раз ролями. Вибирайте на приклад мене; я буду сидіти в городі на лавці, а ви прийдете несьмілі, зажурені, і почнете говорити про бодяки, місяць, словіїв, жаби і т. п. поетичні речі, потім скажете: »люблю вас!«, а я почервонівши відновім: »Спитайте тата!« або »Мов серце належить уже до Ганчаківни!« Коли ми мушкини діждемося такої волі?

— Глузуйте собі здорові! Ви всі тілько глувствуете собі з нас і не хочете зрозуміти. Того не бачите, які ми безпомічні, які беззахистні — —

— Знаю, знаю: се стоїть у »Дівочих слюзах«. Ну, ви мабуть маєте з чого жити?

— Я не про себе, а про інших.

— Але ви — —

Роман не договорив, се вже було би за- надто съміло.

Букетом, який він подав Стефанії при котилоні, він зовсім здобув собі її серце. Вона чудувала ся його бистроумності і ріжним іншим гарним прикметам. Потім, коли дамя вибирали мушчин до танцю, Стефанія вибрала його, сказавши притім важні слова: — Се наше одиноче виборче право і то ще на коменду мушчин.

А Роман сказав на те неменше важні слова: — Я вам признаю і всяке інше право вибору...

Обвішаний ордерами і оголомшений чара-

ми балю і прихильностію Стефанії, він зовсім не вважав на те, що і радник Скрутинський танцював з його милою — годі-ж було Романови все тільки з нею танцювати. За те заняв його один плян, яким він думав раз на завсіди прикувати панну до себе. Звісна річ: жінки страшенно люблять відважних мушчин. Вони дивуються ся їх відвазі і за неї нагороджують найкрасніше. Роман знов уже, яке геройське діло має вчинити, але справді і він застановлявся добру хвилину, чи відважити ся на таке діло чи ні. Все одно! — сказав він собі вкінці, съміло перейшов салю і попросив до танцу — Ганчаківну...

Вражене було незвичайне: Ганчаківна була би танцювала дві години, як би Роман був витримав, і що більше: вона сказала в розмові цілих сімнайцять слів; він упрів, якби не знати при якій праці; а Стефанія своїм очам не вірила, так здивувала ся. Однак замісць похвалити Романа за відвагу, вона сказала йому: — «Вас таки щось тягне до неї»... З такої замітки Роман не був рад, але потішив себе небавом знаним спостереженем, що льогіка у жінок інші, як у мушчин.

За те знов як любо вона усміхнула ся до Романа по двох днях, коли у «Рускім дневнику» прочитала опис балю; там очевидно ніхто інший, лише Роман, назвав її королевою балю. Він не виписав цілого її імена і прізвиска, але букви «Стеф. Черк.» очевидно не означали нічого іншого, як її саму. При найближшій на-

годі вона сердечно стиснула його руку: друко-
вачих компліментів для себе вона ще не чита-
ла ніколи в житю.

Були се гарні часи — —

»А чорт би тебе побрав!« — скрикнув Ро-
ман несподівано; се бажане його відносилося
до голки, що, притиснена до стола, зломила ся
аж на три частини. Через те якийсь час його уя-
ва була занята гузиком і голкою, але вже не-
бавом п'ятий гузик сидів твердо на своїм місці
— і не було ніякої перешкоди згадувати далі
гарні часи.

* * *

Чи ті часи були справді гарні?

Ось хвилина радості. Роман сидить у Па-
вловської на софі; з одного боку коло нього Зо-
ня, а з другого на землі Гектор. Більше нема-
нікого: Павловська приготовляє вечеру, панна
Стефанія пішла на ховзанку, Павловський ще
не вернув з касина. Нахилившись до уха, Зоня
шепче Романові: — Тітка Стефка казала нині,
що ви їй снилися.

— Справді?

— Справді. Казала, що ви їй сподобалися,
що з вами бавила ся дуже добре.

Роман з радості обняв і поцілував Зоню
та погласкав Гектора.

А потім знов і смуток і радість. Раз вече-
ром іде він улицею на ховзанку, де мала бути
Стефанія. Іде задуманий і не зважає на людей.

Потрутів якусь паню; дивить ся: пані така молоденька, чепурна, гарно одягнена.

— Pardon! — сказав він, здіймаючи капелюх.

— Нішо не шкодить! — відповіла вона. — Ходім разом!

Роман почервонів ся по самі уха, серце йому закровавило ся з сорому, обурене заволоділо його душою — і він, як опарений, відскочив і давай утікати! Що вона собі гадає? То невинний муштина не може вечером перейти спокійно улицею? Жінки нарікають, що не мають волі, — а вони от що починають із муштинами! Кожда немов відгадує, що Роман нежонатий, і думає, що се вже достаточна причина зачіпти невинного кавалєра на улиці. Прикро було Романови, ще більше прикро, ніж геройні «Дівочих сліз», коли їй таке саме лучило ся з муштиною. Передумуючи свою пригоду, Роман дійшов до висновку, якого жінки не признають, що «яке їхало, таке здібало», жінки і мушки одинакові.

Він хотів сю свою бистроумну замітку сказати Стефанії, але коли прийшов на лід і побачив її при съвітлі електричних ламп на ніклевих лижвах, засоромив ся і говорив зовсім що інше. Він ховзув ся разом з нею, тримав її за руки, і йому було дуже тепло. Рав, закрюючи нею, мусів її хопити в обійми, бо була би впала. Її лицце облив ще горячійший румянець, а очі бліснули так, що сей блиск здав ся Романови яснішим від лукових електричних ламп,

що висіли над замерзлим ставком. Потім він наумисне впав перед нею на одне коліно, але зробив се так зручно, що Стефанія могла цілій тиждень думати, чи се зробив він наумисно чи ні, і не здогадати ся. Військова музика грала польки і вальси, по ставку крутилися сотки пар і поодиноких людей — крім музики було чути тілько лижви на леду і веселі розмови.

Був се гарний вечір. Роман не змерз ані трохи, хоч мороз був кавалерський. Невидимий огонь, що горів у його серці, зогрівав його цілого, як добра груба.

Потім він відпроваджував Стефанію до дому. Була може осьма година вечером. В дорозі прийшло йому на думку, запросити її до цукорні. Вона обурила ся: — Що ви собі думаете?

— Я думаю собі, — відповів Роман — що ви як розумна панна не повинні зважати на людські язики і не обмежувати своєї волі. Чи соромно вам зі мною?

Питання було таке, що Стефанія й не могла відповісти інакше, як лише згодитися вступити до цукорні.

— Рівне право для всіх! — сказав Роман і, чи забув ся у своїм щастю, чи справді думав, що вже тепер настали інші часи, перший увійшов у двері.

Стефанія покрутила носом, але мовчала; увійшла за Романом — і обовсюди коло стола. В цукорні були гості і з них дехто цікаво оглядав молоду пару, але вони не зважали: Стефа-

нії було соромно піднести очи, а Роман тимчасом припрошував її брати тіста з кремом.

Він думав, що приятельськими запросянами до цукорнї, часом і тістами з кремом зробить хоч маленьку приємність своїй панві, тимчасом з отсего вечера і почало ся нещастє, яке йому і не снило ся. Був хтось у цукорнї, що доніс Павловським цілу пригоду: і те, як він перший відважив ся вступити в двері, чим зневажив даму, і те, як її частував — усе знали Павловські. Коли при найближшій нагоді Роман відвідів Павловських, Стефанія не хотіла з ним бачити ся, її ніби-то боліла голова. За те Павловська обсипала його докорами, як градом: — Що ви зробили? Хтож таке видав? Що ви собі думаете?

В розпуці Роман одно лише хотів знати: хто се доніс Павловській: женщина чи муштина? Роман не хотів знати імені сеї особи, тілько її рід. Павловська не хотіла спершу сказати, вкінци виявила тайну, що се женщина. Романоив від того аж на серци полекшало.

— Отже не муштини обмежують волю жінок, тілько самі жінки! — сказав він твердо і був рад у душі, що хоч гірким досвідом дійшов до такого висновку.

Тепер він сам не здав, що робити. Він ждав — і се, не рахуючи його писаня в редакції, була одинока його робота і думка. І вставючи з ліжка і лягаючи спати, він розважував свою провину і не здав певно, як дивити ся на неї. Цукорня, чай, тіста з кремом — се звісно

річи не заборонені. Що він перший увійшов у двері, а вона за ним — се-ж не повинно бути провиною в очах емансипованої жінки. »Се не-чесність!« шептало йому сумлінє і серце. »І че-рез що нечесність?!« — відповідав розум — і Роман не міг ніколи скоро заснути, так думав. Чи може се провина, що без опіки тітки вече-ром завів її до цукорні? Адже цукорня одна з перших, пора не пізна, съвідків було bogato. Чого ж хотять люди від нього? На добрий лад — се-ж зневага не для неї, тілько для нього — се підозрінє, що він міг щось злого зробити панні Стефанії!

І отся гризота зовсім розбила Романа. Він дістав страшенну інфлюенцу і мусів покласти ся в ліжко. Лежачи — ждав. Як-раз зовсім так само ждав, як герояня »Дівочих сліз« І не знати, на що ждав, але ждав. Йому здавалося, що коли він справді сподобався Стефанії — а про те всі говорили — то вона, як розумна жінка, не з тих старосвітських, повинна вибрati його. Гроші має, значить: мужа з декретом не потребує, будущина її не лякає, може вибрati собі Романа на мужа і буде прекрасно. Вийшло би, правда, таке, що жінка годувала би мужа, — ну, та чому ж би раз не мало і так бути? Врешті і він заробляв би на життє, а як би він жінку любив!

І коли йому інфлюенца зовсім забила голову, як оловом, і він лежав, здавалося, без думки сам один у своїй хаті, навіть без опіки своєї послугачки-сторожихи, — привиділося

Нації знакомі.

раз йому, що прийшла до нього Стефанія. Прийшла сама, сіла собі на ліжко, поклала свою маленьку руку на його горяче чоло і сказала: — Бідний ти! Лежищ, як Лазар, сам один, і ніхто тебе не пожалує. Старих паннів усе таки тепер дехто жалує, плачуть над ними, упоминаються о права для них, а старих кавалерів ніхто не жалує; всі думають, що їм з їх «волею» страх приємно. Навіть податок хочуть на них наложить!... От чекай: скоро виздоровієш, поберемося; будемо мати з чого жити — я маю право вибору і вибрала собі тебе.

Романови мимо інфлюенци в голові прояснилося і серце на радощах забилося сильноше, він усміхнувся щасливим усміхом дитини, — але по хвилині отворив очі: в комнаті пусто, нема нікого! І його взяв такий гіркий жаль, що не міг настарчiti хустинок на обтирани сліз і носа, бо рівночасно і ніс плакав. І він зітхав: »о Боже!« і ті зітхання повторяли німі стіни його кавалерської комната. »Колиб хоч хто принес фляшку горівки, бо горівка, кажуть, добра на інфлюенцу!« думав він собі і гіркий усміх скривив його уста, бо у голову прийшла йому й інша думка: »Горівка помогла би мені й на що інше!« Але горівки не принес ніхто. Він ждав, нещасний, засипляв, будився, і знову ждав; аж вкінці сам устав, пішов у місто і випив чарку горівки. Зараз йому лекше стало: і в голові і в серці. Випив другу. Дивувався хвилину, що під час інфлюенци горівка хочби тобі троха забаламутила голову — нічо-

го не шкодить — потім закусив і випив третю чарку — і йому съвіт роз'яснив ся, якось лекше стало на душі. Там десь тілько на самім дні серця таїв ся у нього гіркий жаль до съвіта і до людей, але він про се не думав. Він все ще ждав і мав надію, покладаючись на ніжне жіноче серце, що як розум мовчить, то воно за нього думає і то думає красше, як він.

Одного лише не знов Роман, чи випадаєйому тепер шукати Стефанії, чи ні. Але на те найшов він зараз раду. Не треба її й шукати, а треба просто пійти на другий баль, який небавом має бути — кождому-ж вільно війти — і там шукати доброї нагоди до розмови із Стефанією.

— Так! — сказав Роман. — Ну, от один гузик пришив гладко і без пригоди! Троха, правда, не в простій лінії з другими, але се ніщо не шкодить. А тепер остатній...

* * *

Шестий гузик був пришитий. Хоч голова і серде Романа були повні сумних споминів, але почутє порядку, який він заводив отсе у своїм житю і на пальті, наповняли його відрадою.¹ Він закурив папіроску і пускав з димом свої думки.

Яка то нудна робота — таке пришиване гузиків! А все лише через те, що мушчин сего не вчать, що сю роботу загарбали здавна жінки у свої руки. Сповняючи таку нікчемну роботу, жінки думають, що вже задля самих гу-

*

зиків вони мушинам потрібні; тимчасом, як себе перемогти, то можна притім сьміло обійтися без жіночої помочі. Робота, що правда, не приємна сама по собі, та все ж не труднійша, як ведене якого небудь уряду або хочби редакціонерської газети. Мало того: до пришивання гузиків не потрібно й великих студий; треба лише зломити кілька голок, уколоти ся кілька разів у пальць, — і вже чоловік навчився. І за таку марніцю жінки беруть нераз мушин у свою неволю!...

Ет! махнув Роман рукою, витягаючи з сукна голку з ниткою, так, що зачіпив голкою о стіл і вона зломила ся. Але він не зважав на се; на теж він і купив відразу цілу пачку голок, щоб не журити ся такими дурницями. Взяв нову і шив далі.

Тепер уже не дратують його такі речі — привик з потреби і привчився, а голки не дорогі — але перше страшенно було йому прикро: коли гузик відорвався, то він купував нову одежду; потім платив кравцеви окремо за сильне пришивання гузиків; а тепер уже обходився без кравця; вмів собі порадити.

Але буває часом, що прийде на нього «слаба хвилина» і йому жалко, що мусить сам займати ся такою роботою. Прикро йому не для того, щоб соромився такої роботи, а так тільки думав собі: ось, що в цілім життю потрібно знати; а він тимчасом учився цілими роками багато таких речей, що вже давно їх забув і не має ніколи потреби пригадувати їх собі.

Колиб хоч ту ученість Романа вміли були оцінити жінки! Правда, з ними ніколи не можна було поговорити н. пр. про тригонометрию або про аористи, але й без того вони могли зміркувати, що Роман знати не мало. Стефанія казала навіть, що він розумний чоловік і ніколи не забуває явища в роті. А проте — ох Боже, Боже!

Сей баль, що прийшов, порішив цілу справу. Роман прийшов на баль непевний і задуманий. На салі був радник і Ганчаківна і інші гості. Він привітався зі всіма, — Стефанія подала йому руку так холодно, що він аж змерз — і не знати, що робити. Під зеркалом сиділа бабка Стефанії. Він присівся до неї, знаючи, що вона у справах Стефанії має важкий голос. Стефанія танцювала з радником, а він розмовляв із бабкою її.

— Ви не танцюєте? — питала ся бабка.

— Якось не маю охоти.

— I не сором вам? Подивіться ся, як радник танцує! Він же грубо старший від вас.

Роман подивився на радника: він справді був старший: трошка грубий, трошка лисий на самім тім'ю, але лице мав новне і румяне. Роман бачив його богато разів, та ще ніколи не придивився йому докладніше. Тепер він замітив, що Стефанія була висша від нього і очевидно витревалійша, бо радник потився танцуєчи, як при тяжкій роботі, а по Стефанії і знати не було ніякої втоми.

І коли він так задумався, оглядаючи рад-

ника, бабка нараз аж напохала його ніби невинною заміткою:

— Чую, що ви заручені, богату панну берете.

— Ні, пані, я не заручений, але жду на заручини.

— Чому ждете?

— Бо ще панни не маю!

Бабка усміхнула ся дипломатично і ні з того ні з сего заговорила про радника: — Чи не знаєте ви його близше?

— Чому не знати? Знаю!

— Щож він за один?

— Так собі радник, що від давна глядає жінки. Дуже добра партія.

— Партия справді добра.

А Романови післі сих слів якби в голові блискавиця блиснула і потім зайшли чорні хмари: він зрозумів наміри бабки, зірвав ся, як опарений і скоро замітив, що радник уже змучений, тільки ждав, коли він пустить Стефанію, і зараз узяв її до танцю. Але музика в ту саму хвилю перестала грati. Він ще більше був рад і став проходжувати ся із Стефанією по салі:

— Ви гніваете ся на мене? — спитав ся.

— Ні.

— Чому ж такі холодні?

— Бабка казала.

— Бабка казала! — трохи не скрикнув Роман. — А ви що сказали на те?

— Знаєте що, пане Романе? Не випитуй-

те ся! Я вас поважаю, будьмо добрими приятелями! Добре?

— Я приязни не хочу, я маю право на любов так, як і жінки.

— Ніхто вам сего права не відбирає. Любити можете, кого хочете.

— Не так, панно Стефаніє! Я ставлю справу так, як у «Дівочих слізах».

— Якже то?

— Право не любов, се у жінок таке право, щоб їх кождий муштина любив, а вони нікого. Ми повинні мати таке саме право і готові ще й любити тих, що нас люблять.

В сїй хвилі приступив до них радник і вони пішли далі в трійку. Роман не зновував уже, що говорити...

Вже в кілька днів потім Роман дізнав ся, що радник женить ся із Стефанією, а ще перед великондним постом відбулося весілля. За цілий той час від заручин до весілля Роман з розпуки випив більше пива, як за ціле своє життя, але се йому не богато помогло, тільки прибільшило йому довгів. З того часу памятає він лише одну розмову з Павловським. Павловський стрітив його і спитав ся, чому до них не приходить. Потім пішли оба на сніданок і снідали від десятої рано аж до шестої години вечериом. Про що вони не говорили! Була очевидно мова і про Стефанію.

— Я любив її! — говорив Роман з жалем.

— І що з того? — питав ся Павловський.

— Я подобався їй!

— І що з того? — питав ся знову Павловський.

— Як то: що з того? Могла-ж мене вибрати!

— Вас?! Щож ви є? Ви не гнівайте ся за таке слово; ви знаєте, що я вас високо по-важаю, але з жіночого становища...

— Що я є? Я муштина!

— Мало того.

— Я освічений муштина!

— Мало того.

— Я денникар, учитель тисячий людий, дорослих а не дітей.

— Ой, ой, пане Романе, які ви дитинні! Вона з таким маєтком вийшла би за нашого денникаря замуж! Знов же ви хотіли би жити на ласці жінки?

— Чому ж би ні? Чи жінки все мають жити на нашій ласці? Врешті я заробляю, доки можу.

— Становище, пане Романе, становище! Богаті панни не виходять замуж за бідних, а коли виходять, то їх називають ексцентричними. От випиймо, пане Романе!

І вони оба випили.

А потім Роман відпровадив Павловського до дому, а Гектор відпровадив Романа до його дому. Гектор якби розумів горе свого приятеля, доти не покинув його, доки Роман не опинився у своїй хаті. І тут склала ся сцена, якої Роман і доси не може забути. Гектор підняв ся на задні лаби, щоби Романа поцілувати, а Роман обняв його за шию і поцілував у чоло, при-

мовляючи гірко: »Приятелю мій вірний! Собаче в тебе серце, але красше як...« Він не міг дальше промовити слова, лише гірко заплакав. Гектор сів на землю, зняв морду до Романа і став жалісно вити. Був се дует, що серце роздирає; такого дуєту жадна панна — чи стара чи молода — як живе, не чула.

Очунявши з жалю, Роман глянув на свого приятеля і погладив його сердечно по голові. Потім тяжкою ходою, як зломаний, ледви дійшов до шафи, де складав свої віктуали, виняв звідтам пів метра ковбаси і дав Гекторові. »Ідж, мій єдиний приятелю, а не забудь відвідати мене ще коли!« Гектор, уже з ковбасою в зубах, подав Романови лабу, блиснув вдячними очима, потім пішов до дверей, отворив собі лабою двері і забрався.

Роман аж засміявся: »Хитра бестия!« — промовив він; замкнув двері і поклався спати, бо мав великий наклін до горизонтального положення.

З того часу Роман від неодного відвік, а неодного навчився. Відвік танцювати, а навчився дещо варити. Він спривів собі кухарську книжку і побачив, що варене се не така велика штука. Читане сеї книжки давало йому нераз величезне вдоволене, як напр. спосіб на відсвіжене баб, де сказано, що завиває ся бабу в мокру бібулу і саджає ся в піч. Подібних приписів було у книжці більше і він чим раз красше розумів, що єсть. З того часу поправилося й його здоров'я і втрачених десять кільограмів

він наново придбав собі. Крім того він сам стелів постелю, зміняв правильно і в пору пішви і простириала, стирав порохи, справив собі квітки і заслони на вікна, знов, кілько мав сорочок (лише що-до хустинок не мав певності) — одним словом у його кавалерській хаті був порядок і без жінки.

• • •

Роман пришив остатний гузик і в нього якби дух вступив. Кого не тішить яке небудь привязане, — всякого тішить! Якжеж не мало Романа тішити не то привязане, але пришите гузиків! Він попробував їх, чи сильно держать ся, — вони держали ся так, що тільки разом з сукном можна було їх відірвати. Його лице роз'яснило ся від великої радості і очі блиснули огнем. Він почув себе о пять літ молодшим і о десять літ шиковнійшим. Що за радісне почуття, яка певність себе вступає в серце, коли чоловік съвідомий, що гузики не покинуть його ніколи!

І Роман, як новонароджений, уяв палицю і елястичним кроком пішов на прохід, знявши голову гордо в гору.

Сонце клонило ся до заходу і позолочувало парк. В парку грала музика; сотки людей проходжували ся та балакали весело.

В одній алеї Роман стрітив радника з жінкою. Радник по весіллю якось раптом постарів ся і посивів, а жінка його зблідла. І тепер ішли

вони мовчкі поруч себе і кожде дивилося собі в іншу сторону.

— Моя поважане! — поклонився Роман.

— Моя поважане! — відворкнув радник, але за те жінка усміхнулася до Романа так мило і тужно, як би просила його, щоби прилучився до них.

Але Роман запняв усі гузики на своїм пальті і почув на грудях мов панцир, що охоронював його серце від ударів. Він гордо пішов далі.

Львів, 14. січня 1899.

З М И С Т.

	стр.
I. Два ставки	3
II. Нещасна пригода	10
III. Казка про Невдоволеного Русина	15
IV. Як я видавав газету	21
V. Новітній плуг	31
VI. Як я продавав свої новелі	43
VII. Виклад про крамниці	53
VIII. Казка для дітей	61
IX. Зуб мамута	64
X. Народний Дім	78
XI. »Нашолъ литератора«	91
XII. Еманципація мушчин	99

ПОПРАВКИ.

На ст. 4 рядок 3 з низу замісць: закутавши має бути
закутавшись

> > 25 > 15 з гори > отже має бути отсе
> > 27 > 10 з низу > деякі > > де які
> > 29 > 11 з гори > вільні > > вільний
> > 61 > 7 з низу > навіть > > на віщо-
> > 65 > 11 з низу > остав ся має бути
оставсь

»Два ставки« написані в році 1898.

»Як я видавав газету« написане в р. 1896.

Date Due

P.G.3948



3 2000 004 482 2

. May N2

**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**

